

153
284
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ГЕРБЕРТ ДЖ. УЭЛЛС

ЛЮБОВЬ
и
МИСТЕР
ЛЬЮИШЭМ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА

HERBERT G. WELLS

Род. 1866

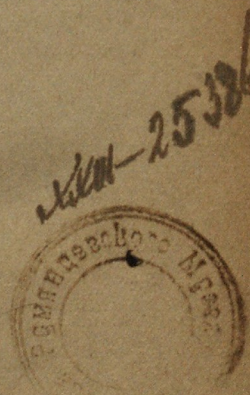
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРБЕРТ ДЖ. УЭЛЛС

ЛЮБОВЬ
И
МИСТЕР ЛЬЮИШЭМ

ПЕРЕВОД З. ЖУРАВСКОЙ
РЕДАКЦИЯ ЕВГ. ЗАМЯТИНА



МОСКВА — МСМХІІІ — ПЕТРОГРАД

ПЕТРОГР. ОТД.
Гл. К-ры «Известий ВЦИК»
Тип. «КРАСНЫЙ АГИТАТОР»
Пгк., 7-я РОТА, 26

ЛЮБОВЬ И МИСТЕР ЛЬЮИШЭМ

LOVE AND MR. LEWISHAM

1900

ЗНАКОМИТ С М-РОМ ЛЬЮИШЭМОМ

Начинающаяся глава еще не имеет дела с Любовью, — этот враг нашего героя появляется только в третьей главе, — а пока мы видим м-ра Льюишэма за работой. Это было лет десять назад, в те дни, когда он был помощником заведующего Уортлейской школой, в графстве Сэссекс. М-р Льюишэм получал жалованья сорок фунтов в год и в продолжение учебного сезона из этого жалованья платили за комнату пятнадцать шиллингов в неделю, а жил м-р Льюишэм — у м-рс Мундэй, хозяйки небольшой лавочки на Уэст-стрите. В отличие от учеников старшего класса, делом которых было не учить, а учиться, его звали «мистером», а ученикам было строго предписано, обращаясь к нему, прибавлять слово «сэр».

Он носил костюм из магазина готового платья; черная куртка стояла на нем колом и была запачкана мелом спереди и на рукавах; лицо было покрыто легким пушком, и усы существовали пока только в зародыше. Это был юноша лет восемнадцати, недурной наружности, белокурый, довольно плохо выбритый; на носу (нос довольно-таки изрядных размеров) — торчали совершенно ненужные очки: очки м-р Льюишэм носил для того, чтобы казаться старше и чтоб легче было поддерживать дисциплину. В тот момент, когда начинается эта история, м-р Льюишэм находился в своей спальне. Это было чердачное помещение: слуховые окна в свинцовых рамах, покатый потолок; стена покривилась, и, как показывают ободранные места, — оклеена бесчисленными слоями цветистых старомодных обоев.

Судя по убранству комнаты, м-р Льюишэм думал очень мало о Любви и очень много о Величии. Так, например, над изголовьем кровати, где добрые люди вешают тексты из писания, красовались следующие две сентенции, начертанные смелым, четким юношеским почерком с многочисленными росчерками и завитушками: «Знание — Сила» и «Что сделал один человек, то может сделать и другой» — под другим подразумевался м-р Льюишэм. Этих истин не следовало забывать ни на одну минуту, и м-р Льюишэм каждое утро, просовывая голову в ворот сорочки, сызнова перечитывал эти изречения. А над выкрашенным в желтый цвет сундуком, на

котором, за отсутствием полок, помещалась библиотека м-ра Льюишэма, висела «Schema». (Почему бы м-ру Льюишэму и не озаглавить эту свою программу схемой? Я думаю, редактор «Церковного Времени», озаглавливающий свои заметки тоже поллатыни — «Miscellanea» — мог бы быть в этом вопросе лучшим судьей, чем я). Из этой схемы было видно, что в 1892 г. м-р Льюишэм предполагал получить в лондонском университете степень «В. А.»¹⁾ с «похвальными отзывами по всем предметам», а в 1895 г. — «золотую медаль». Далее шли «памфлеты в защиту либерализма» и тому подобные сочинения, помеченные соответствующими датами. «Кто хочет руководить другими, должен прежде научиться властвовать над собой», гласила надпись на стене над умывальником, а за дверьми, напротив праздничных брюк, висел портрет Карлейля.

Дело не ограничивалось одними угрозами миру: военные действия уже начались. Вперемёжку с Шекспиром, «Опытами» Эмерсона и «Жизнью Конфуция» в дешёвом издании, лежали истрепанные и перепачканные учебники, с десяток превосходных руководств Общества Всемирной Корреспонденции, тетради, чернила (красные и чёрные) в грошевых бутылочках и гуттаперчевый штамп с именем м-ра Льюишэма. Третью стену украшал трофей: свидетельство об успехах в черчении, астрономии, физиологии, физиографии и неорганической химии. А напротив портрета Карлейля висел рукописный список французских неправильных глаголов.

Приколотая кнопкой над умывальником болталась таблица распределения времени; эта таблица была приколота непосредственно к потолку: комната была на чердаке, и как раз в этом углу крыша имела наклон, можно сказать, жизнеопасный. Согласно таблице, м-ру Льюишэму полагалось вставать в пять часов, и что это было не пустою похвалой — о том свидетельствовал дешёвый американский будильник, стоявший на ящике с книгами. Свидетельство это подтверждали также и остатки шоколада на оклеенной бумагой полке над изголовьем кровати. «Французский — до восьми», лаконически гласила таблица. На завтрак полагалось двадцать минут; затем двадцать пять минут на литературу, или говоря точнее, на изучение выдержек (по преимуществу риторических) из драм Уильяма Шекспира; затем следовали школа и выполнение обязанностей наставника. Далее таблица предписывала заниматься латинскими сочинениями в часы перемен и обеда (но за самым обедом опять-таки занятия литературой) и указывала занятия эти для остальных часов из двадцати четырех, составляющих сутки, при чем занятия эти варьирова-

¹⁾ В. А. — «Bachelor of Arts» — «бакалавр искусств».

лись соответственно дням недели. Ни минуты не было уделено диаволу и его искушениям. На отдых и, следовательно, на праздность полагалось за целый день всего только час и десять минут.

Подумайте только, какая великолепная схема! В пять часов уже на ногах и уже за делом — в пять часов, когда все вокруг хранят еще горизонтальное положение и, тепло укрывшись, видят сны, или глупо храпят, а если и просыпаются, то лишь для того, чтобы промычать что-то невнятное, вздохнуть и, перевернувшись на другой бок, снова погрузиться в забвение. К восьми вы уже имеете за собою три часа умственной работы и некоторую сумму приобретенных знаний; вы на три часа опередили весь прочий мир. Один известный ученый говорил мне, что для того, чтобы вполне изучить язык, требуется около тысячи часов добросовестного труда, а если вы уже изучили три-четыре языка — значительно меньше; при таких условиях вы можете изучить язык в год, занимаясь только до завтрака. Дар языков, найденный без всякого труда, словно какой-нибудь гриб! Потом эта «литература» — удивительная идея. В послеобеденные часы занятия математикой и науками. Может ли быть что-нибудь проще и великолепнее? В шесть лет м-р Льюишэм изучит пять или шесть языков, получит рациональное всестороннее образование и усвоит себе привычку к энергичному, усидчивому труду. К этому времени ему исполнится всего лишь двадцать четыре года, а он будет уже обладателем почетного университетского диплома и, следовательно, может выбирать себе любую дорогу. Вы понимаете также, что в его памфлетах в защиту либерализма не будет туманных и общих мест. Можно себе представить, чего достигнет м-р Льюишэм в тридцать лет. Разумеется, по мере того, как опыт его будет расти, будет видоизменяться и схема; рамки ее могут раздвинуться, но дух останется тот же, и дух этот — всепожирающее пламя.

М-р Льюишэм сидел напротив ромбоидального окна и быстро-быстро что-то писал. Столом ему служил другой желтый сундук, перевернутый на бок и пустой внутри; крышка была открыта, и колени писавшего помещались внутри сундука. Постель была завалена книгами и литографированными листками инструкций от его далеких наставников, преподававших письменно. Верный расписанию, болтавшемуся на потолке, м-р Льюишэм переводил с латинского на английский язык.

Мало-по-малу, незаметно, он стал писать медленнее: «Urit me Gluserae nitor» смущало его, «Urit me» пробормотал он и глаза его перешли с книги на окно, а затем на крышу противоположного дома, где трубы были сплошь обвиты плющом. М-р Льюишэм сдвинул брови и наморщил лоб: «Urit me!».

Он взял перо в рот и оглянулся посмотреть, где словарь: надо найти *urage*.

Внезапно выражение лица изменилось. Рука, протянутая за словарем, остановилась на поддороге. Он прислушивался к легкому стуку — это были шаги — на улице.

Он вдруг вскочил и, вытянув шею, стал пристально вглядываться сквозь ненужные очки и ромбоидальные стекла окна в то, что происходило на улице. Наклонившись, елико возможно, и напрягая зрение, он оказался в состоянии рассмотреть женскую шляпу, украшенную розовато-белым цветком, кусочек жакета и кончик носа и подбородка. Это, наверное, приезжая барышня, которая сидела прошлое воскресенье под хорами, рядом с Фробишерами. Он и в тот раз видел ее только мельком...

М-р Льюишэм следил за нею, пока она шла вниз, под окном, и неестественно вытягивался, чтобы увидеть ее, когда она завернула за угол, хотя тут уж видеть ее совсем невозможно...

Затем он вздрогнул, нахмурился, вынул перо изо рта. «Удивительно трудно сосредоточить внимание. Всякий пустяк отвлекает. На чем я остановился? Чшша!» — он поскрипел зубами, чтобы выразить свое негодование, сел и снова всунул колени в опрокинутый ящик. «Utit me», — сказал он, кусая кончик пера и отыскивая словарь.

Была пятница, день полупраздничный, в последних числах марта — чудный весенний день: яркий свет, ослепительно-белые облака, необычайно синее небо; там и сям между деревьями — пятна удивительно яркой зелени; шумные ликующие песни птиц, — день волнующий, настойчиво кричащий все об одном и том же — настоящий вестник лета. Волнующая близость лета уже чувствовалась в воздухе; нагретая земля уже готова была раскрыться над набухшими семенами; сосновые леса были полны легким треском распускающихся почек. И не только земле, воздуху и деревьям был внятен голос матери природы; он волновал и юную кровь м-ра Льюишэма, будя его сердце, маня его к жизни — жизни совсем иной, чем та, какую предписывала схема.

Из-под бумаг выглянул уголок словаря. М-р Льюишэм посмотрел «Utit me», оценил сверкающую «nitog» плеч Глицеры и опять задумался — и опять выбранил себя за рассеянность.

«Не могу сосредоточиться».

М-р Льюишэм снял свои бесполезные очки, вытер их и прищурил глаза. Этот проклятый Гораций с его волнующими эпитетами! Пойти разве прогуляться?

«Не поддамся я!» — объявил он себе, снова надел очки, с маху облокотился обоими локтями на сундук — в сундуке даже загудело — и, запустив обе руки в волосы, зажал себе уши...

Через пять минут он поймал себя на том, что наблюдает за ласточками: ласточки кружились над садом викария.

«Приходилось ли кому-нибудь так дьявольски трудно, как мне? — сказал м-р Льюишэм неопределенно, но яростно. — А все оттого, что я слишком снисходителен к себе: работать сидя — это уже начало лени».

Он встал и продолжал писать стоя, при чем ему все время видна была улица.

«Если она повернула за угол, возле почты, ее опять будет видно через забор», — шевелилась неотвязная мысль в каком-то неизведанном и недисциплинированном уголке мозга м-ра Льюишэма...

Но ее не видно. Повидимому, она не сворачивала за угол возле почты. Удивительное дело! Куда она могла деваться? Или она просто пошла гулять за город? Тут облачко неожиданно набежало на солнце, на улице вдруг стало прохладно, краски потускнели, и воображение Льюишэма подчинилось контролю разума. Благодаря этому «*Mater saeva cupidinium*» «Неукротимая мать желаний» Горация (книга вторая Од), автора, рекомендованного м-ру Льюишэму для изучения к экзамену, была благополучно переведена вплоть до своего пророческого конца.

Как только часы на церковной башне пробили пять, м-р Льюишэм с пунктуальностью, почти неуместной в настоящем, серьезно относящемся к делу ученом, — закрыл Горация, взял Шекспира и спустился по узенькой, кривой, непокрытой ковром лестнице; лестница эта вела с чердака в жилую комнату, где м-р Льюишэм обедал и пил чай, вместе со своей хозяйкой, мистрисс Мундэй. Добрая женщина была одна, и, обменявшись с ней несколькими учтивыми фразами, м-р Льюишэм открыл Шекспира и начал читать с того места, на котором остановился (кстати сказать, отметка приходилась посредине сцены), машинально уничтожая один за другим ломтики хлеба, намазанного брусничным вареньем.

М-с Мундэй смотрела на Льюишэма через очки и думала: как должно быть вредно для глаз так много читать; звонок и скрип открывшейся двери вызвали ее в лавку, возвестив о приходе покупателя. В двадцать пять минут шестого м-р Льюишэм положил книгу обратно на подоконник, стряхнул крошки с платья, надел лежавшую на подносе студенческую четырехугольную фуражку, и пошел в школу, на вечерние репетиции.

Уэст-стрит была пуста и залита золотым светом заката. Красота ее поразила м-ра Льюишэма, и он забыл повторить монолог из «Генриха VIII», что решил было сделать по пути в школу. Вместо того, он все время думал о том, что он мельком видел в окно, в тот момент, когда его непокорный ум отвлекся от занятий. м-р Льюишэм думал о чьем-то кончике носа и о чьем-то подбородке. Глаза его приняли мечтательное выражение...

Дверь школы ему отворил услужливый мальчуган-первоклассник с переписанной задачей в руках, которую следовало просмотреть.

Войдя, м-р Льюишэм ощутил странную перемену атмосферы. Дверь захлопнулась за ним с неприятным шумом. В передней — все назойливо напоминало о школе: желтые, под мрамор, обои, длинные ряды вешалок для шляп, множество сваленных в кучу зонтиков, разбитая грифельная доска, разорванные и разбросанные листки «Principia»... Передняя казалась темной и мрачной, в сравнении с ярким освещением раннего мартовского утра. Необычайно-острое сознание того, насколько сера и однообразна жизнь учителя, — жизнь вообще всех, посвятивших себя умственному труду, — мелькнуло у него в голове. Он взял тетрадь, где были с превеликим трудом переписаны три страницы из книги, и на каждой поставил огромные Д. Э. Л., чудовищно нацарапанные поперек страницы. В открытую дверь до него доносились с площадки для игр знакомый смешанный шум и голоса.

„ПОДУЛ ВЕТЕР“

Программа занятий м-ра Льюишэма совершенно не давала доступа демонам рассеянности, которые могли бы стать помехой на пути м-ра Льюишэма к величию. И все же в этой программе был один пробел: там не хватало параграфа, воспрещающего занятия на открытом воздухе. Пробел этот особенно сказался на другой день после тривиального выглядывания в окно, описанного в предыдущей главе. День выпал еще более прелестный и соблазнительный, чем накануне, и в половине двенадцатого, вместо того, чтобы вернуться из школы прямо к себе домой, м-р Льюишэм сделал большое упущение и направился — с Горацием в кармане — к воротам парка и дальше, в старую аллею, идущую кругом всего Уортлэя. У м-ра Льюишэма мелькнуло было подозрение насчет того, что именно заставило его сделать такую прогулку, но это подозрение он без труда отогнал. В аллее можно читать без помехи — туда почти никто не ходит. Свежий воздух, ходьба, прямое положение тела, — все это несомненно гораздо полезнее, чем сидеть в душной, расслабляющей атмосфере спальни. Свежий воздух полезен здоровью, бодрит...

День был ветреный и в ветвях, покрытых почками деревьев, слышался нескончаемый шелест и шорох.

Тонкая сеть буковых ветвей была пронизана золотым солнечным светом, а пониже — были уже видны горизонтальные стрелки молодой зелени.

«Tu, nisi ventis
Debes ludibrium, cave».

Вот о чем заставлял думать себя м-р Льюишэм, машинально стараясь держать книгу раскрытой в трех местах зараз — среди текста, примечаний и подстрочного перевода — и отыскивая в то же время в словаре слово *ludibrium*. Вдруг внимание м-ра Льюишэма, блуждавшее с большим для себя риском по краю страницы, упало за борт — и с невероятной быстротой умчалось вниз по аллее...

Навстречу шла девушка в соломенной шляпке с белым цвет-

ком. Она тоже была занята какой-то литературной работой. Она так усердно писала, что, очевидно, и не замечала м-ра Льюишэма.

Безрассудное волнение овладело м-ром Льюишэмом — волнение, которое не может быть объяснено простым предположением, что тут имеет место только случайная встреча. М-р Льюишэм прошептал что-то звучавшее подозрительно похоже на слова: «это она». Он шел, заложив пальцы в книгу и наблюдая за девушкой поверх страниц; если бы девушка подняла глаза — он моментально закрылся бы книгой. *Ludibrium* совершенно вылетело у него из головы. Девушка, очевидно, не замечала его близости — так, по крайней мере, он думал — не замечала, потому что была занята своим писанием. Он никак не мог угадать, что такое она делает. Глаза у нее были опущены, оттого лицо ее казалось меньше — каким-то совсем детским. Развевающаяся юбка была коротка, так что видны были башмаки и даже полоска чулок. Он заметил, какая у нее легкая, грациозная поступь. Вся ее фигура, залитая солнцем, дышала свежестью и здоровьем. Словно к нему шла навстречу сама жизнь, — как он не без удивления вспоминал впоследствии, — жизнь, совершенно не включенная в Схему.

Она подходила все ближе и ближе, все еще не поднимая глаз. Он был полон смутного и нелепого желания: ни с того — ни с сего взять и заговорить с ней. Даже странно, что она не замечала его. Он почти с замиранием сердца ждал момента, когда она поднимет глаза... — хотя чего тут собственно было ждать? Он думал о том, каким она найдет его, когда увидит, и спрашивал себя, не свесилась ли вниз кисточка от его шапки — она иногда свешивалась так, что закрывала глаз. Протянуть руку, чтобы пощупать кисточку — было, разумеется, абсолютно невозможно. Обыкновенно м-р Льюишэм шел, как автомат, не замечая, что идет. Теперь он шел нетвердой поступью, поминутно замедляя шаги. Можно было подумать, что он никогда в жизни не встречал на своем пути ни одной живой души. Все ближе, остается только десять шагов, девять, восемь... Неужели она пройдет, не взглянув?

В эту минуту глаза их встретились. У нее были глаза газели. М-р Льюишэм, большой знаток в таких вещах, не находил слов для похвалы. Она степенно посмотрела на него. Его лицо, повидимому, ничего не сказало ей. Она перевела свой взгляд на деревья и прошла: перед нашим героем не осталось ничего, кроме пустой аллеи, — залитой солнцем и местами прорезанной зеленью.

И это было все.

Откуда-то издали подул ветер, и в одно мгновение все деревья вокруг зашумели и задрожали, ветки заскрипели от ветра. Этот ветер точно гнал м-ра Льюишэма прочь от нее, от этой девушки. Поблекшие прошлогодние листья, когда-то молодые и зеленые, кружились в воздухе, догоняли друг дружку, прыгали,

плясали и выделяли всевозможные пируэты. Вдруг что-то большое ударило его в шею, на одну секунду прилипло, затем отвалилось, и ветер снова погнал м-ра Льюишэма вверх по аллее.

Что-то ярко-белое! Листок бумаги, листок, на котором она писала!

Он довольно долго не мог сообразить, что ему делать — показалось, что прошла целая вечность. Затем он оглянулся через плечо и вдруг понял. Всю его неловкость как рукой сняло. С Горацием в руке он помчался за листком и в один миг настиг улетевший документ. Затем м-р Льюишэм повернулся к ней, краснея от своего торжества: в руке у него была добыча. Поднимая листок, он прочел то, что на нем было написано, но опять-таки не сразу сообразил, что ему делать. Он шагнул к ней навстречу и только тогда понял то, что прочел на листке. Строчки одинаковой длины с прописными буквами в начале. Неужели же это?.. Он остановился, опять взглянул на листок, поднял брови и, держа перед собою листок, уже совсем откровенно вытаращил на него глаза. На листке было написано стилографическим пером:

«Слово есть умное»

и опять:

«Слово есть умное»

и снова:

«Слово есть умное»

«Слово есть умное»

и так до конца страницы мальчишеским почерком, чрезвычайно похожим на почерк Фробишера 2-го.

— Эге, вот так штука, — вскричал м-р Льюишэм, не веря глазам и от удивления забывая о хороших манерах... Он отлично помнил, что задал Фробишеру 2-му написать дома несколько лишних страниц в наказание: Фробишер 2-й шумел в классе — сам виноват. Значит, она писала вместо него. Это как-то странно не согласовалось с тем смутным представлением о ней, которое уже успел составить себе м-р Льюишэм. Ему казалось, что она как будто обманула его. Но, конечно, это казалось только одну минуту.

Теперь они поровнялись.

— Могу я получить обратно мой листок? — спросила она, с трудом переводя дух. Она была вершка на два ниже м-ра Льюишэма. «Заметил ты, какой у нее хорошенький полуоткрытый ротик?» — шепнула мать природа на ухо Льюишэму. Впоследствии он припомнил эти слова. По глазам девушки видно было, что она догадывается о листке и немножко боится.

— Позвольте, — сказал он (негодование пока еще перевешивало в нем все остальное), — вам не следовало этого делать.

— Чего?

— Этого. Домашних работ. Для моих школьников.

Она подняла брови, нахмурилась и посмотрела на него.

— Разве вы м-р Льюишэм? — спросила она, притворяясь чрезвычайно удивленной, как будто ей и в голову не приходила эта мысль.

Она отлично знала его и отчасти потому именно взялась написать заданное Фробешеру 2-му, но притворилась, что не знает: это давало ей предлог что-нибудь сказать.

М-р Льюишэм кивнул головой.

— И надо же было! Ну, что делать! Вы поймали меня.

— Боюсь, что так, — сказал Льюишэм. — Боюсь, что я действительно поймал вас.

Они смотрели друг на друга, не зная, что говорить дальше. Она решила, что необходимо оправдаться.

— Тэдди Фробешер — мой кузен. Я знаю, что это очень нехорошо, но у него была такая куча дела, и он так волновался... А мне совершенно нечего было делать. Собственно говоря, это даже я предложила...

Она остановилась и посмотрела на него, повидимому, находя, что такого оправдания вполне достаточно.

Глаза их снова встретились, и это как-то странно смутило м-ра Льюишэма. Тем не менее, он попытался держаться ближе к делу. — Вам не следовало этого делать, — повторил он, отважно глядя ей прямо в лицо.

Она потупила глаза и снова подняла их.

— Вы правы. Я тоже думаю, что мне не следовало этого делать. Мне очень жаль.

Эта ее манера то подымать, то опускать глаза создавала у м-ра Льюишэма очень странное впечатление: будто разговор идет вовсе не о том, о чем они говорят словами — а о чем-то совсем ином. Предположение — явно нелепое, и оно может быть объяснено только общим расстройством его умственных способностей в это время. Он сделал серьезную попытку сохранить за собою позицию и продолжал тем же укоризненным тоном:

— Ведь я все равно заметил бы, что почерк не его.

— Разумеется. Это очень нехорошо с моей стороны, что я соблазнила его. Но, уверяю вас, что виновата я одна. Он был в таком горе, и я думала...

Она опять запнулась, и краска на ее щеках чуть-чуть сгустилась. И вдруг юноша почувствовал, что у него самого пылают щеки. Это было невыразимо глупо. Нет, это надо прекратить.

Необходимо освободиться от этого странного ощущения двойного разговора.

— Могу вас уверить, — сказал он, на этот раз очень серьезно, — что я никогда не налагаю незаслуженных наказаний, — никогда! У меня... э... э... это мое правило. Я очень осторожен в таких вещах...

— Мне, право, очень жаль, — прервала она его с искренним огорчением. — Это было, действительно, очень глупо с моей стороны.

Льюишэму вдруг почему-то сделалось обидно, что ей приходится извиняться, и он снова заговорил, надеясь спокойной речью согнать с своих щек этот глупый румянец.

— *Этого* я не думаю, — воскликнул он с какой-то запоздалой поспешностью. — В сущности, это было очень мило с вашей стороны. Право, знаете, очень мило. И я знаю, что... я вполне понимаю, что... э... э... ваша доброта...

— Не принесла никакой пользы. Теперь бедному маленькому Тэди еще больше достанется за то, что он позволил мне...

— О, нет! — вскричал м-р Льюишэм, поспешив ухватиться за такой удобный предлог и стараясь не улыбнуться от радости. — Я не имел права заглядывать в этот листок, когда поднял его — никакого права. Не мое дело знать, что там написано. А следовательно...

— Вы сделаете так, как будто ничего не видели? Да неужели?

— Ну, разумеется.

На ее лице засияла улыбка, и м-р Льюишэм расплылся в ответной улыбке. — Это такие пустяки! Иначе я и не мог бы поступить.

— Однако, многие, на вашем месте не сделали бы этого. Школьные учителя не всегда проявляют такое... рыцарство.

Он поступил, как рыцарь! Эта похвала подействовала на него, как шпоры на коня. Он не мог, положительно не мог удержаться от искушения.

— Если хотите... — начал он.

— Что?

— Он может этого не делать... то есть не списывать. Я освобожу его.

— В самом деле?

— Я могу это сделать.

— Это страшно мило с вашей стороны.

— Мне все равно. Это такие пустяки. Если вы в самом деле думаете...

Он готов был аплодировать себе — за то, что так постыдно поступил с справедливостью.

— Это страшно мило с вашей стороны, — повторила она.

- Это пустяки, совершенные пустяки.
— Однако, большинство на вашем месте...
— Я знаю.

Пауза.

- Ну, что же? Значит, все уладилось?

Он отдал бы в эту минуту целый мир за то, чтобы придумать что-нибудь еще, что-нибудь остроумное и оригинальное, но ничего не приходило в голову.

Пауза затянулась. Девушка оглянулась через плечо на пустую аллею. Их свидание — ряд несказанных слов и невысказанных мыслей — приходило к концу. Она посмотрела на него нерешительно и опять улыбнулась, потом протянула руку. Без сомнения, это и следовало сделать. Он взял ее руку, напрасно подыскивая в своем опустевшем, смятленном уме подходящего слова.

— Это страшно мило с вашей стороны, — повторила она еще раз.

— Пустяки, ничего не значит, — сказал м-р Льюишэм, не находя другой фразы, которая могла бы послужить переходом к разговору на другие темы. Рука у нее была холодная, нежная и крепкая, сжимать ее вот так — было удивительно приятно, и это ощущение вытесняло все остальное. Он удержал ее руку в своей, но все-таки не находил слов.

Оба одновременно заметили, что стоят, держась за руки. Рассмеялись и почувствовали: «как глупо!». Затем обменялись крепким рукопожатием, словно старые друзья, и каждый поспешил неловко отдернуть руку. Она повернулась, робко посмотрела на него через плечо, подождала немного, нерешительно выговорила «прощайте» и вдруг отошла.

Он поклонился ей вслед, грациозно взмахнув своей студенческой шапочкой, на манер поклонов семнадцатого столетия, но в неизведанных областях его духа что-то вдруг возмутилось и восстало против такого исхода.

Не успела она отойти на десять шагов, как он уже был возле нее.

— Позвольте, — сказал он, сам пугаясь своей смелости и неловко приподымая свою студенческую шапочку с такой торжественностью, как будто встретился с похоронной процессией. — Этот листок бумаги...

— Ну? — спросила она с удивлением, совершенно естественным.

— Можно мне взять его?

— Зачем?

У него захватило дух от удовольствия, как захватывает, когда с'езжаешь с ледяной горы.

— Мне было бы приятно сохранить его.

Она улыбнулась и подняла брови, но его волнение было уже слишком велико для того, чтобы улыбаться.

— Посмотрите сюда. Видите? — сказала она, разжимая руку и показывая ему листок, скомканный в шарик. Она засмеялась, не без усилия.

— Это мне все равно, — сказал м-р Льюишэм, тоже смеясь. Он властным жестом схватил лист и разглаживал его дрожащими пальцами.

— Вы не будете сердиться?

— За что?

— Если я оставлю его у себя?

— За что же тут сердиться?

Пауза. Глаза их снова встретились. Обоим было как-то странно не по себе от этого волнующего молчания.

— Мне право нужно идти, — сказала она вдруг, заставив себя нарушить очарование. Она повернулась и пошла, оставив его с измятым листком бумаги в руке. Прижимая к себе этот листок и книгу, он опять приподнял свою шапочку для почтительного поклона.

Он смотрел вслед ее удалявшейся фигурке. Сердце у него билось необычайно быстро. Какая у нее легкая, воздушная походка! Маленькие круглые пятна солнечного света гнались за ней, скользя вниз по ее платью. Она шла быстро, потом медленнее, по временам оглядывалась вправо и влево, но не назад; так дошла до ворот парка. Тут она остановилась, обернулась, посмотрела в сторону м-ра Льюишэма, дружески кивнула ему головой и скрылась.

Лицо его пылало, глаза сияли. Странное дело, ему трудно было дышать. Он долго смотрел на опустевший конец аллеи, потом перевел глаза на свой трофей, который он горячо прижимал к закрытому и забытому Горацию.

III

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

По воскресеньям обязанностью м-ра Льюишэма было дважды сопровождать пансионеров-школьников в церковь. Мальчики сидели на хорах над клиросом, как раз напротив органа и под прямым углом к остальным прихожанам. И учитель, и мальчики — были у всех на виду, и м-р Льюишэм обыкновенно чувствовал себя неловко; впрочем, временами на м-ра Льюишэма нападало какое-то тщеславное настроение, и тогда он восбуждал, что все восхищаются его высоким лбом и думают, что этот великолепный лоб удивительно гармонирует с прекрасными аттестатами м-ра Льюишэма. В такие дни он особенно много думал о своем лбе и своих аттестатах, но очень мало о своем открытом, юношески-свежем лице (Сказать правду, лоб его не представлял собою ровно ничего замечательного). Он редко смотрел вниз, воображая, что если он посмотрит, то непременно встретит взоры всех прихожан, устремленные на него. Вот почему в это утро, о котором идет речь, м-р Льюишэм не заметил, что скамья Фробишеров до самого молебствия оставалась пустой.

Но вечером, идя в церковь, во главе целой шеренги мальчишек, маршировавших по западной стороне площади, он увидел на другой стороне Фробишеров с их гостьей. На гостье было надето новенькое светлое платье, как будто уже пришла пасха, а лицо ее, обрамленное темными волосами, показалось м-ру Льюишэму странно новым и вместе знакомым. Она спокойно посмотрела на него. Ему стало страшно неловко и он готов был уже оборвать это новсе знакомство, но не решился и вдруг порывисто приподнял шляпу, словно кланяясь мистрисс Фробишер. Ни одна из дам не ответила на его поклон, может быть, потому, что поклон этот был несколько неожиданным. В эту минуту юный Сиддонс уронил молитвенник, наклонился поднять его и Льюишэм, споткнувшись на Сиддонса, чуть не упал... Он вошел в церковь с мрачным отчаянием в душе.

Но скоро он немного утешился. Он ясно видел, что, садясь на свое место, она взглянула на хоры; позже, опустившись на колени, он сквозь пальцы взглянул в ее сторону — и опять она смотрела на хоры. Она безусловно не смеялась над ним.

В те дни многое в душе Льюишэма было еще неведомой страшной для него самого. Он думал, например, о себе, — что он, как разумное человеческое существо, действует и мыслит всегда логически; на самом же деле, под влиянием известных импульсов — вся его рассудительность и выдержка пропадали, и он становился просто — фантазером, просто — чувствительным юношей. Ну, вот — хотя бы музыка — действовала на него очень сильно, и особенно — пение, если голоса пели в унисон. Уж тут он забывал обо всем, и им овладевало глубокое радостное волнение. Вечерняя служба в Уортлейской церкви — вечером священники служили в облачениях — пение, мерцающий блеск свечей, близость толпы, одушевленной общим чувством, одновременно опускающейся на колени, одновременно встающей, шумно отвечающей на возгласы священника — все это неизменно опьяняло его. Если хотите, — даже вдохновляло его и превращало прозу его жизни в поэзию. Случай пришел на помощь природе и подсказал м-ру Льюишэму как раз то, что было нужно, а его слух, особенно чуткий и восприимчивый в это время, моментально уловил эту мысль и запомнил.

Второй гимн был очень известный и простой, на тему о вере, надежде и милосердии, и каждый стих оканчивался словом «любовь». Представьте себе эти слова, распеваемые медленно, протяжно, с паузами:

Вера ста нет лю-бованием,
Надежда пре-вратится в восто-орг,
Любовь в небесах засияет я-арче...
Го-споди, дай нам Любовь!

После того как припев о любви был повторен в третий раз, Льюишэм посмотрел через алтарь вниз и встретился с нею глазами...

Голос его вдруг оборвался. Затем сознание, что там, внизу — целые ряды поднятых вверх голов — овладело им с подавляющей силой, и он не осмелился еще раз взглянуть на нее. Он чувствовал, как у него кровь прилиwała к лицу.

Любовь! Она выше надежды и веры. Выше всего на свете. Выше славы. Выше знания... Великое открытие потоком хлынуло в его душу, вместе со словами гимна, и, одновременно с этим, волна крови хлынула ему в лицо, залила даже лоб. Остаток службы был только фантастическим фундаментом к великой действительности: он, м-р Льюишэм, влюблен. Впрочем, правду сказать, снизу с фундамента — тоже склонны были поглядывать наверх...

«А...минь».

М-р Льюишэм был так поглощен своим открытием, что все уже сели на места, а он все еще продолжал стоять восхищенный.

Он судорожно опустился на скамью, с таким шумом, что, как ему показалось, гул пошел по всей церкви.

Сумерки уже сгущались, когда ученики вышли на паперть; м-ру Льюишэму казалось, что он всюду видит ее. Ему почудилась ее фигурка впереди, и он стал торопить мальчиков, чтобы нагнать ее. Они пробивались сквозь толпу смутно вырисовавшихся фигур, направлявшихся домой. Поклониться ей еще раз, или не кланяться? Но это оказалась Сюзи Гопбрау, в светлом платье, — ворона в перьях голубки. М-р Льюишэм почувствовал странную смесь облегчения и разочарования. Ее — в этот вечер ему так и не удалось увидеть.

Из школы он поспешил домой. Ему хотелось как можно скорее остаться одному. Он пошел вверх, в свою каморку, и уселся перед опрокинутым ящиком; на ящике лежала раскрытая апология Бутлера. Но дело так и не дошло до того, чтобы зажечь свечу. Откинувшись назад, он замер в блаженном созерцании одинокой звездочки, мерцавшей над садом викария.

Он вынул из кармана тот самый комочек бумаги — теперь разглаженный и тщательно сложенный — листок, исписанный почерком, довольно близко напоминающим почерк Фробишера 2-го. После минутного колебания м-р Льюишэм поднес свое сокровище к губам. Схема и таблица распределения времени белели в темноте, словно призраки самих себя.

Мистрисс Мундэй пришлось три раза звать своего квартиранта ужинать.

Тотчас же после ужина м-р Льюишэм вышел и бродил при свете звезд, пока не дошел до холма, который находится за городом. Он взобрался наверх; оттуда виден был дом Фробишеров. Одно только окно было освещено. Он решил, что это ее окно, и стал смотреть. За спущенной шторой, м-рс Фробишер (дама лет под сорок) крутила папиюотки из бумаги — она предпочитала этот способ завивки, потому что он не портит волос — и высказывала лаконические замечания на счет кое-кого из соседей м-ру Фробишеру, уже лежавшему в постели. Затем, она поднесла свечу ближе к зеркалу, чтобы исследовать цвет лица: вот уже несколько дней он ей что-то не нравился...

А на холме м-р Льюишэм (восемнадцати лет) добрых полчаса стоял и следил за продолговатым желтым огоньком, пока, наконец, огонек не погас, оставив дом пустым и темным. Тогда м-р Льюишэм глубоко вздохнул и вернулся домой в превосходном настроении.

На другое утро он проснулся с чувством, что вчера произошло что-то чрезвычайно серьезное, но никак не мог припомнить, что именно. Взгляд его упал на часы. Было уже шесть часов, а он не слышал звона будильника; очевидно, будильник не был заведен с вечера. Он вскочил с постели и попал ногами прямо на свои луч-

шие брюки; брюки эти бесформенной массою валялись на полу, вместо того, чтобы лежать аккуратно сложенными на стуле. Намыливая себе голову, он попытался, согласно своим правилам, припомнить прочитанное накануне, но это ему абсолютно не удалось. Истина осенила его, только когда он стал надевать сорочку. Голова его завязла в вороте; манжеты, болтавшиеся в воздухе, с минуту оставались неподвижными.

Затем его голова медленно вынырнула на свет божий: на лице было ясно выражено изумление. Он припомнил... Он припомнил все случившееся, как некое смелое открытие, припомнил без малейшего волнения; может быть, тут играло роль ахроматическое и совершенно неромантическое освещение, какое бывает ранним утром...

Да. Теперь он вспомнил совершенно ясно. Он ничего не прочел вчера. Он влюблен.

Сказав себе это, он ощутил в душе какой-то смутный разлад. С минуту он стоял, глядя перед собою в пространство, потом стал рассеянно озиаться, ища глазами запонку. Проходя перед «Схемой», он остановился и посмотрел на нее.

ПРИПОДНЯТЫЕ БРОВИ

— Надо же, однако, дело делать, — сказал себе м-р Льюишэм, но никогда еще необычайные преимущества занятий на открытом воздухе не были для него так очевидны.

Перед завтраком он с полчаса читал на открытом воздухе, расхаживая по переулку, придегавшему к дому Фробишеров; после завтрака и до начала занятий в школе, он ходил по аллее, с книгой в руках; возвращаясь домой, он сделал крюк, чтобы зайти в аллею, и на вечерние занятия в школу пошел опять-таки кружным путем, через аллею. В эти периоды занятий на открытом воздухе, м-р Льюишэм, если не смотрел вперед поверх книги, так поминутно оглядывался через плечо назад. И под конец, кого же он увидел как не...

Он увидел ее краем глаза и тотчас же отвернулся, представляясь, будто не видит ее. Все его существо как бы вдруг озарилось светом. Руки судорожно сжали книгу. Он не оглянулся назад второй раз, но медленно и упорно шел вперед, читая оду, которую сейчас не смог бы перевести даже ради спасения жизни. Напряженно вслушивался: не идет ли? Показалось, будто прошла целая вечность; наконец, за спиной у м-ра Льюишэма послышался легкий шум шагов и шелест юбок.

Ему казалось, что кто-то держит в железных тисках его голову и не позволяет повернуться.

— М-р Льюишэм, — произнес голос над самым ухом Льюишэма. Он судорожно обернулся и неуклюже приподнял шляпу.

Девушка протянула руку. М-р Льюишэм взял ее руку не сразу и держал, пока она не отняла.

— Я так рада встретиться с вами, — сказала она.

— И я тоже, — просто сказал Льюишэм.

С минуту они молчали, глядя в лицо друг другу, при чем эта пауза была очень выразительна; затем девушка сделала движение вперед и тем показала свое намерение идти дальше рядом с ним.

— Мне так хотелось, — начала она, глядя вниз, себе под ноги, — так хотелось поблагодарить вас за то, что вы освободили Тэди. Я потому именно и хотела видеть вас. — Льюишэм шагнул вперед. — Странно, неправда ли? — сказала она, подымая на

него глаза, — я встретила вас здесь и как раз на том же самом месте... мне кажется... да, да, на том же самом месте, как и в первый раз.

М-р Льюишэм не мог ответить ни слова.

— Вы часто приходите сюда? — спросила она.

— Я? — голос его звучал до странности хрипло. — Нет. Нет... То-есть — во всяком случае не часто. От времени до времени. Хотя я, собственно, люблю здесь читать и все такое. Здесь так спокойно.

— Вы, должно быть, много читаете?

— Преподавателю это необходимо.

— Но вы?..

— Разумеется, чтение доставляет мне удовольствие. А вам?

— Я люблю читать.

М-р Льюишэм был рад, что она любит читать. Если бы она ответила иначе, он был бы разочарован. Но она говорила с неподдельным жаром. Она *любит* читать! Это было приятно. В таком случае, она, может быть, поймет его.

— Конечно, я не так умна, как некоторые. И я читаю то, что попадается мне под руку.

— Я тоже. Кстати... вы читали... Карлейля?

Разговор теперь совсем налачился. Они шли рядом; над головами их качались ветви деревьев. М-р Льюишэм был в экстазе, омрачаемом только страхом случайной встречи с каким-нибудь школьником. Она не особенно много читала Карлейля. Она всегда желала этого, даже когда была еще совсем маленькой девочкой — она так много слышала о Карлейле. Она знала, что это настоящий большой писатель, очень большой писатель. Все, что она читала из его сочинений, ей нравится. Это она может сказать. Чрезвычайно нравится. Кроме того, она видела его дом в Челси.

На Льюишэма, который бывал в Лондоне лишь изредка и ненадолго, это произвело сильное впечатление: как будто он вдруг узнал, что она состоит в близком знакомстве с этой замечательной личностью. Он никогда не представлял себе ясно, что такие великие писатели живут, как обыкновенные люди, в обыкновенных домах. Она в нескольких словах описала ему дом Карлейля, так живо, что м-р Льюишэм как будто сам увидел этот дом. По ее словам, она жила в Клапгэме — совсем близко, по крайней мере, настолько близко, что оттуда можно было дойти пешком. М-р Льюишэм моментально позабыл о своем смутном намерении дать ей прочесть «Sartor Resartus»¹⁾: ему хотелось побольше узнать о ее собственном доме.

¹⁾ «Сартор Резартус» — Карлейля.

— Клапгэм, это почти в Лондоне, не правда ли?

— О, да, — сказала она, но не решилась сообщить ему что-нибудь еще о своих домашних обстоятельствах. — Я люблю Лондон, — предпочла она общий разговор, — в особенности зимою. — И она начала хвалить Лондон, публичные библиотеки, магазины, толпу народа на улицах, легкость жизни: — «Вы можете делать, что вам угодно», концерты, театры, которые можно посещать при желании (она, повидимому, вращалась в очень хорошем обществе). — Там всегда есть на что посмотреть, даже когда вы вышли просто пройтись, а здесь нечего читать, кроме глупых романов. Да и те не новые.

М-р Льюишэм с грустью должен был согласиться, что в Уортлее нет такой оживленной культурной и умственной деятельности. Это сознание страшно принижало м-ра Льюишэма перед его дамой. Всеми этому он мог противопоставить только свою начитанность и аттестаты, а она видела дом Карлейля. — Здесь, — говорила она, — не о чем даже поговорить, разве о каком-нибудь скандале.

Это было слишком справедливо...

На углу, возле плетня, на голубом фоне неба вырисовывались ивы, с серебряными сережками и золотистым пушком на ветвях; тут м-р Льюишэм и его спутница, как бы по взаимному уговору, повернули и пошли в обратную сторону.

— Мне здесь прямо-таки не с кем поговорить, — сказала она, — во всяком случае — поговорить в том смысле, как я это понимаю.

— Я надеюсь, — сказал Льюишэм, нырнув сразу на самое дно, — что, пока вы останетесь в Уортлее...

Он вдруг запнулся, и она, следуя направлению его взгляда, увидела, что к ним приближается внушительного вида черная фигура. — Нам, может быть, придется еще когда-нибудь встретиться, — закончил м-р Льюишэм.

Он готов был предложить ей встретиться где-нибудь по уговору. Ему пришел на ум восхитительный лабиринт тропинок на берегу реки. Но появление м-ра Джорджа Боновера, заведывающего Уортлейской школой, удивительно охладило его пыл. Встречу юной парочки, несомненно, устроила сама природа, но о Боновере она, очевидно, позабыла — это была с ее стороны преступная небрежность. Теперь она малодушно ступевалась, отступив далеко на второй план, и м-р Льюишэм, с самыми неприятными чувствами в душе, очутился лицом к лицу с типичным представителем общественной организации *inter alia*, весьма сильно неодобряющей те случаи, когда молодые и неженатые младшие преподаватели заводили неподходящие разговоры и знакомства.

— ...Еще когда-нибудь встретиться, — уныло закончил м-р Льюишэм, чувствуя внезапно упадок духа.

— Я тоже надеюсь, — сказала она.

Пауза. Лицо м-ра Боновера, в особенности его густые нависшие черные брови, были уже совсем близко, и брови эти были уже приподняты, повидимому, для того, чтобы выразить крайнее изумление.

— Это, кажется, м-р Боновер? — спросила она.

— Да.

Долгая пауза.

Интересно знать, остановится ли он, заговорит ли с ними? Как бы там ни было, этому ужасному молчанию надо положить конец. М-р Льюишэм искал в уме какой-нибудь приличной случаю фразы, какого-нибудь замечания, которое можно было бы высказать при встрече с начальством — но, к удивлению своему, не находил. Ум его представлял собою пустыню. Он сделал над собой колоссальное усилие. Если бы они еще могли разговаривать, держать себя непринужденно! Но это явное смущение — самый красноречивый признак вины.

— А хорошая сегодня погода, — сказал м-р Льюишэм. — Не правда ли?

Она согласилась:

— Да, не правда ли?

В эту минуту прошел м-р Боновер, как-то весь подтянувшись и выразительно поджимая губы. М-р Льюишэм приподнял шапочку, и, к его удивлению, м-р Боновер ответил ему необычайно официальным поклоном, бросил испытующий, неодобрительный взгляд — и прошел мимо. Льюишэм был подавлен изумлением: обычный небрежный кивок м-ра Боновера — сменился таким необычайно-вежливым поклоном! Но тем и кончилась пока эта страшная встреча.

На миг м-р Льюишэм ощутил прилив негодования. В сущности, какое право имеет м-р Боновер или кто другой — мешать м-ру Льюишэму разговаривать с барышней? При том же, они могли бы познакомиться и не на улице, их мог бы кто-нибудь представить друг другу, — ну, скажем, юный Фробишер. Тем не менее, весеннее настроение Льюишэма сменилось зимним. И уж дальше, до самого конца их разговора он чувствовал себя до странности глупым; раньше — во время разговора у м-ра Льюишэма было восхитительное чувство отваги, вдохновлявшее и в то же время изумлявшее его, — теперь эта отвага позорно с'ежилась. Он был рад, положительно рад, когда их разговор пришел к концу.

У ворот парка она протянула руку.

— Боюсь, что я помешала вам читать?

— Ничуть, — возразил Льюишэм, — и слегка отошел. — Такая приятная беседа...

— Боюсь, что это было нарушением правил этикета — то, что я заговорила с вами, но мне так хотелось поблагодарить вас...

— Полноте, не стоит говорить об этом, — сказал м-р Льюишэм, втайне смущенный словом «этикет».

— Прощайте.

Он постоял в нерешимости у сторожки и сделал вид, что повернул назад по аллее: он хотел пойти потом за нею по Уест-стрит и издали следить за нею, но так, чтобы не обращать на себя внимания.

Идя по аллее, м-р Льюишэм вспомнил, что не дал ей книги, которую хотел дать, и не уговорился насчет будущих встреч. Она, может быть, завтра же покинет Уортлей и вернется ко всем прелестям жизни в Клапгэме. М-р Льюишэм остановился и с минуту постоял в нерешимости. Не догнать ли ее? Но тут он вспомнил, какое загадочное выражение было на лице у Боновера — и решил, что бежать за нею вслед будет неловко, что это будет слишком заметно. И, однако же... Он медлил в постыдной нерешимости и не трогался с места, а время уходило.

Вернувшись домой, он застал м-рс Мундэй уже за вторым блюдом.

— Это все ваши книги, — возмущалась м-рс Мундэй, относившаяся к своему жильцу с материнским участием, — вы читаете и читаете и совсем не замечаете времени. А теперь всн обед простыл и извольте есть холодное, потому разогревать некогда — скоро вам опять нужно в школу. Вы себе желудок испортите таким манером.

— Пожалуйста, не заботьтесь о моем желудке, м-рс Мундэй, — сказал Льюишэм, отрываясь от своих сложных и, повидимому, мрачных мыслей, — это уж мое дело. — Для него это было необычно грубо — так говорить.

— А я все-таки предпочитаю хороший, исправно действующий желудок — хорошо набитой голове, — заметила м-рс Мундэй.

— Как видите, у нас различные вкусы, — отрезал м-р Льюишэм и снова впал в свое мрачное молчание.

— Ну, ну, — пробормотала себе под нос м-рс Мундэй.

КОЛЕБАНИЯ

М-р Боновер, зрело обдумав все происшествие и подготовив соответствующее внушение, преподнес его Льюишэму в послеобеденное время, когда молодой человек наблюдал за игрой учеников в крикет. В виде вступления, м-р Боновер сделал несколько замечаний насчет видов на будущее некоторых из учеников старшего класса, и Льюишэм согласился с ним, что за последний учебный сезон Фробишер 1-й очень сложился и возмужал.

Последовала пауза. Заведывающий школой что-то напевал себе под нос, затем, как бы продолжая разговор и в то же время наблюдая за игрой, сказал:

— Кстати, я думал, что вы новый человек здесь в Уортлее.

— Оно так и есть, — сказал Льюишэм.

— Но вы все-таки нашли друзей по соседству.

На Льюишэма вдруг напал кашель, и уши его — проклятые уши — покраснели.

— Да, — сказал он, оправляясь, — о, да! У меня есть друзья.

— Здешние жители, по всей вероятности?

— Нет, не совсем.

Краска разлилась от ушей Льюишэма по всему его лицу.

— Я видел вас, — сказал Боновер, — в аллее, беседующим с молодой лэди. Ее лицо показалось мне знакомым. Кто она такая?

Сказать, что она гостит у Фробишеров — или не говорить? Если сказать, Боновер с его предательской любезностью, пожалуй, вздумает завести об этом речь с Фробишером, и выйдут неприятности для нее.

— Она, — начал Льюишэм, запинаясь, густо краснея от такого насилия над своею честностью и понижая голос до бормотания, — она... она старый друг моей матери. Я встречался с ней в Сольсбэри.

— Где?

— В Сольсбэри.

— А как ее фамилия?

— Смит.

Льюишэм несколько поторопился, и не успела эта ложь сорваться у него с языка, как он уже раскаялся.

— Ловко попал, Гаррис, — крикнул Боновер и захлопал в ладоши. — Это ловко, сэр.

— У Гарриса очень меткий удар, — сказал м-р Льюишэм.

— Очень. И... ах, о чем, бишь, я говорил? Ах, да. Я хотел сказать, какие на свете бывают странные совпадения. У нас в городке есть некая мисс Гендерсон, — или Генсон — она гостит у Фробишеров — это вылитый портрет вашей мисс...

— Смит, — закончил Льюишэм, мужественно встречая его взгляд и краснея до корней волос.

— Это странно, — сказал Боновер, задумчиво глядя на Льюишэма.

— Очень странно, — пробормотал Льюишэм, проклиная собственную глупость и глядя в сторону.

— Очень, очень странно. Правду говоря, — сказал Боновер, поворачивая к школе, — я не ожидал этого от вас, м-р Льюишэм.

— Чего не ожидали, сэр?

Но мистер Боновер притворился, что он уже не слышит.

— Чорт побери! — сказал мистер Льюишэм, — о, ч-чорт! — выражение, несомненно, предосудительное и в те дни редко им употреблявшееся. Он почти был готов догнать своего начальника и спросить его: неужели он сомневается в его слове? Но было слишком очевидно, какой последует ответ.

С минуту он постоял в нерешимости, затем повернулся на каблучках и свирепо зашагал домой. Каждый мускул дрожал в его теле, все лицо у него подергивалось. Смятение, царившее в его душе, разрешилось, наконец, взрывом гнева и негодования.

— Да будь он проклят! — восклицал м-р Льюишэм, обращаясь к своей собственной кровати. — Какого чорта он сует нос не в свое дело?

— Не мешайтесь не в свое дело, — громил м-р Льюишэм умывальник. — Чорт бы вас побрал, сэр, не лезьте туда, где вас не спрашивают!

Умывальник безмолвствовал.

— Вы превышаете вашу власть, — продолжал м-р Льюишэм уже несколько смягченным тоном. — Поймите меня! Вне школы я сам себе господин!

Тем не менее в течение четырех дней и нескольких часов после внушения м-ра Боновера, м-р Льюишэм настолько принял к сведению его указания, что оставил занятия на открытом воздухе и упорно боролся с собой; каждый день он заставлял себя соблюдать не только букву, но и дух предписания своей таблицы, но дело шло все с меньшим успехом. Большую часть времени м-р Льюишэм сидел за работой, досадуя, что ее накопилось так много, что

делал ее кое-как, или просто глядел в окно. Голос благоразумия говорил ему, что снова встречаться и разговаривать с этой девушкой — значит навлечь на себя выговоры и неприятности, что это будет помехой в подготовке к экзаменам, что это будет гибелью всякой дисциплины. М-р Льюишэм сознавал всю справедливость этих утверждений. Все эти влюбления — глупости; никакой любви нет на свете, разве только в плохеньких романах. Но мысль, помимо воли, вдруг ускользала, приковывалась к ее глазам, сияющим в тени полей шляпы, и м-ру Льюишэму приходилось силой тащить свои мысли обратно к книге. В четверг, возвращаясь из школы, он увидал ее вдали, на другом конце улицы и поспешил войти в дом, чтобы избежать встречи, при чем улобно глядел в противоположную сторону, — но это было уже поворотным пунктом. После этого подвига на м-ра Льюишэма напал стыд. В пятницу его вера в любовь снова ожила, и сердце его было полно угрызений за то, что он потерял столько времени.

В субботу утром он был так полон мыслью о ней, и воображение так живо рисовало ему ее образ, что он путался, читая даже самый легкий для преподавания предмет — алгебру; к концу уроков — решение было принято, и голос благоразумия обращен в позорное бегство. Бог с ней, с карьерой. Сегодня он опять увидит ее и будет говорить с ней, а там пусть будет, что будет. Возникла была мысль о Боновере, но м-р Льюишэм тотчас отогнал ее. Притом же...

Боновер в эти часы отдыхает.

Да, он пойдет и отыщет ее и будет говорить с ней. Ничто не остановит его.

Как только это решение было принято, он стал представлять себе, что именно он ей скажет и как скажет и какую при этом примет позу; в уме его витал рой смутных и прекрасных грез — все о ней. Ни о чем другом, кроме нее и своей любви, он думать не мог. Какая низость была прятаться от нее! О чем он только думал? Как он ей объяснит, если они, действительно, встретятся? Предположим, что он будет откровенен...

Он стал соображать, до какой степени можно быть откровенным. Поверит ли она, если он скажет, что не видел ее тогда, в четверг? Если он станет уверять ее?..

И вдруг, о ужас: в самый разгар этих размышлений, явился Боновер и попросил Льюишэма подежурить сегодня вечером на крикетной площадке, вместо Дэнкерлея. Дэнкерлей был старший помощник заведующего, единственный сослуживец Льюишэма. Боновер сегодня был опять прежний. Последние следы неодобрения на его лице — исчезли окончательно. При его автократических замашках, попросить об одолжении — для него было все равно, что протянуть оливковую ветвь мира. Но для Льюишэма

эта просьба явилась тяжким наказанием. Один роковой момент он уже готов был согласиться. Но воображение мгновенно нарисовало ему обстановку томительного послеобеденного дежурства, а она в это время может быть уже укладывает вещи, чтобы ехать в Клапгэм... Он побелел. М-р Боновер наблюдал за его лицом.

— Нет, — брякнул Льюишэм, высказывая единственное, в чем он был убежден, и затем уже начиная ломать свою неопытную голову в поисках уважительного предлога. — Мне очень жаль, что я не могу исполнить вашей просьбы, но... я обещал... я, собственно говоря, дал слово быть в одном месте...

Это была явная ложь. Мистер Боновер поднял брови и пояснил уже не так ласково:

— Видите ли, м-рс Боновер ждет сегодня вечером гостей, и м-р Дэнкерлей нужен нам, чтобы составить партию в крокет; у нас не достаёт четвертого...

— Мне очень жаль, — сказал м-р Льюишэм все так же решительно, отметив в уме, что Боновер будет играть в крокет.

— Может быть, вы играете в крокет? — спросил Боновер.

— Нет, понятия не имею об этой игре.

— Если бы м-р Дэнкерлей попросил вас? — настаивал Боновер, зная, как Льюишэм преклоняется пред этикетом.

— О, ведь я не потому, — сказал Льюишэм, и Боновер отшел с поднятыми бровями, всей фигурой выражая изумление и обиду. Льюишэм остался там, где стоял — остался бледный, неподвижный и дивящийся собственной дерзости.

СКАНДАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Как только ученики разошлись, Льюишэм махнул рукой на непоправленные ученические работы и поспешил домой, чтобы провести время до обеда... как? Может быть, с нашей стороны не совсем хорошо по отношению к Льюишэму рассказывать то, что рассказывается дальше; может быть, романисту-мужчине не следовало бы разглашать тайны своих же товарищей, мужчин. Но надпись на стене возле слухового окна в комнате м-ра Льюишэма гласила: «*Mogna est veritas et praevalebit*», — и потому должны говорить всю правду. Придя домой, м-р Льюишэм тщательно пригладил себе щеткой волосы, потом живописно взбил их; перепробовал все свои галстуки и выбрал белый; смахнул пыль с сапог старым носовым платком; переменял брюки (те, которые он носил ежедневно, обились у каблучков) и подмазал чернилами локти своего сюртука в тех местах, где швы побелели. И уж если рассказывать все до конца — он долго изучал перед зеркалом свое безбородое юношеское лицо под различными углами зрения и, в конце-концов, пришел к выводу, что его нос с успехом мог бы быть несколько меньше...

Тотчас же после обеда м-р Льюишэм вышел и направился кратчайшим путем в аллею, говоря себе, что ему решительно все равно, встретится ли он с Боновером или не встретится. Он сам не знал хорошенько, что он намерен делать, но для него было ясно, что он увидит девушку, с которой встретился в аллее. Он должен увидеть ее. Препятствия — только разжигали его, препятствия были даже приятны. М-р Льюишэм по каменным ступенькам взобрался на холм, с которого был виден дом Фробишеров. Он уселся на том самом месте, откуда один раз он уже наблюдал за окном Фробишеровской спальни. Уселся, сложил руки и стал глядеть на дом.

Было без десяти минут два. В двадцать минут третьего он все еще сидел там же, но уже заложив руки глубоко в карманы куртки, угрюмо хмурясь и от нетерпения стуча каблучком по ступеньке. Его бесполезные очки были спрятаны в жилетный карман и там оставались до конца дня; шапочка несколько сдвину-

лась назад, и из-под нее выбилась прядь волос. Два-три человека прошли по аллее — он сделал вид, что не заметил их. Два воробья гонялись друг за другом по меже залитого солнцем и колеблемого ветром овсяного поля; м-р Льюишэм старался развлечься воробьями. Было, конечно, нелепо сердиться на нее за то, что она не шла, но проходили минуты — и лицо у м-ра Льюишэма вытягивалось все больше.

Он услышал чьи-то шаги на улице, позади себя, но не оглянулся — ему неприятно было думать, что люди могут застать его в таком положении. Скромность была одним из основных качеств м-ра Льюишэма; правда — власть ее была уже покорена, но все-таки она глухо протестовала против его затей. Шаги внизу на улице остановились совсем близко.

— Нечего пялить на меня глаза, — сквозь зубы пробормотал Льюишэм.

Затем начались таинственные шумы, шорох, шелест ветвей; казалось, кто-то несколько раз притопнул ногой.

После очень недолгой борьбы, любопытство победило, Льюишэм обернулся, и оказывается что же: сзади-то была она. Она стояла спиной к нему, стараясь достать цветок колючего терна, росшего на изгороди. Замечательная вещь! Она не видала м-ра Льюишэма!

Ноги Льюишэма сами собой полетели по ступенькам. Он спустился с такой быстротой, что с разбега влетел в колючий кустарник.

— Позвольте, я сорву, — сказал он, слишком взволнованный для того, чтобы заметить, что она не была удивлена.

— М-р Льюишэм, — сказала она с притворным удивлением и отодвинулась, чтобы дать ему место.

— Который цветок вы хотите? — восклицал он вне себя от радости. — Самый белый? Тот, что всех выше? Все равно какой?

— Вот этот, — сказала она наудачу, — с черным шипом.

Белоснежная шапка цветов ярко выделялась на синем апрельском небе.

Льюишэм изо всех сил старался достать до цветка — это было не так-то легко — и с каким-то странным чувством удовлетворения Льюишэм увидал у себя на руке белую царапину, скоро окрасившуюся в красный цвет. Он соскочил с забора торжествующий и запыхавшийся.

— Вот, возьмите. Там, выше, на конце улицы, есть еще терн... тот не в пример красивее...

Она засмеялась и посмотрела на него с наивным удовольствием. Такой вот — с пылающими щеками, с ликующим взором — он ей

нравился. В церкви, когда Льюишэм сидел на хорах — лицо его показалось ей тоже интересным в своем роде, но это было совсем другое.

— Покажите мне, — сказала она, хотя отлично знала, что на милю вокруг — нет больше ни одного тернового куста.

— Я *знал*, что увижу вас, — сказал он вместо ответа. — Я определенно чувствовал, что увижу вас сегодня.

— Это, может быть, последний день, когда мы могли встретиться, — призналась она также искренно. — В понедельник я уезжаю домой, в Лондон.

— Я так и *знал*, — вскричал он с торжеством. — В Клапгэм?

— Да. Я получила место. Вы и не подозревали, что я знаю стенографию и умею писать на пишущей машинке? А я умею. Я только что вышла из школы, Грогрэмской школы, а тут объявился один старый джентльмэн, которому нужна переписчица.

— Так вы стенографистка? Теперь я понимаю, почему у вас было стилографическое перо. Эти строки были написаны... Они до сих пор у меня.

Она улыбнулась и подняла брови.

— Здесь, — сказал м-р Льюишэм, похлопывая рукою по жилетному карману.

— Эта улица... — сказал он — их разговор был до странности непоследователен, — кажется, на этой улице, за холмом, есть ворота, идущие — то-есть, я хочу сказать, ведущие на тропинку, к реке. Вы были там?

— Нет.

— Во всем Уортлее нет лучшего места для прогулки. Тропинка выводит на Имерийский луг. Вы *должны* побывать там прежде, чем уедете.

— *Теперь?* — спросила она, и в глазах у ней запрыгали огоньки.

— Почему же нет?

— Я сказала м-рс Фробишер, что вернусь домой к четырем.

— Такую прогулку жаль терять.

— Ну хорошо, пойдемте.

— На деревьях уже распускаются почки, тростники зазеленели, вдоль всего берега — плавают на воде миллионы маленьких белых цветов. Я не знаю, как они называются, но они очень красивы... Можно мне понести эту ветку?

Когда он брал ветку, руки их на одно мгновение соприкоснулись — и опять наступила многозначительная пауза.

— Посмотрите на эти облака, — круто переменял разговор Льюишэм: он боялся, чтобы у него не сорвалось с языка что-нибудь

лишнее. Помахал веткой, как пеной — покрытой белыми цветами. — Посмотрите, какое синее небо между ними.

— Восхитительно! Погода все время стояла прекрасная, но такого дня, как сегодня, еще не бывало. Мой последний день. Самый последний.

Юная пара шла все дальше и дальше в самом наэлектризованном состоянии, — шла все дальше к невыразимому удивлению м-рс Фробишер, глядевшей вслед из окна мезонина. Оба шагали очень бодро и воображали, что и солнце светит, и весь мир принарядился — специально для их удовольствия. Какие необычайные открытия они делали в этот вечер, какие удивительные новости сообщали друг другу! Что весна дивно хороша; что молодые листья прелестны; что почки на деревьях — это нечто изумительное; что облака — ослепительно-великолепны... И все это с таким видом, как-будто они открывали Америку. А с каким наивным удивлением при каждом новом открытии они замечали, что совершенно сходятся во взглядах! Такое совпадение они не могли объяснить только игрой случая: оно казалось им просто непостижимым. Пошли по тропинке, извивающейся между деревьями вдоль берега реки — и, конечно, не успели сделать какую-нибудь сотню шагов, как спутница м-ра Льюишэма пожелала перебраться на нижнюю тропинку, ту, что шла возле самой воды. Льюишэму пришлось отыскивать место, где бы было поудобней спуститься. Неподалеку большое дерево дружески простирало навстречу свои корни, — эти корни заменили ей перила, и она осторожно спустилась вниз, держась за руку Льюишэма.

Вот водяная крыса — моет в воде свою мордочку: это новый повод схватиться за руки, пошептаться, постоять молча. После того Льюишэм полез для нее в воду за веткой проскурняка — с опасностью для жизни, как она уверяла, — и достал ветку, но при этом набрал полный сапог воды. У ворот черного и блестящего шлюза, там, где перегороженная тропинка отклоняется в сторону от реки, молодая девушка поразила Льюишэма неожиданным подвигом, бесстрашно вскарабкавшись при его помощи на самую верхнюю перекладину и с воздушной грацией соскочив вниз на землю.

Они смело пошли целиной через луг, пестревший цветами, причем Льюишэм по ее особой просьбе, загородил ее собою от трех престарелых коров — и при этом чувствовал себя, как Персей, вступивший в борьбу с морским чудовищем. Они прошли мимо мельницы и по крутой тропинке поднялись на Имерийский выгон. По пути Льюишэм завел разговор о ее занятиях.

— Неужели вы, действительно, уезжаете отсюда для того, чтобы сделаться переписчицей? — спросил он и с своим вопросом навел ее на разговор о ней самой — к этой теме она отнеслась с большим энтузиазмом. Они разрабатывали этот вопрос по срав-

нительному методу и так увлеклись, что не заметили, как солнце скрылось за тучу: мягкий шум мелкого дождика захватил их совершенно врасплох.

— Смотрите, — сказал он, — там сарай. И они побежали рука об руку. Она бежала смеясь, быстро и легко. Он обеими руками помогал ей перелезть через изгородь, высвободил ее юбку, зацепившуюся за сучок; таким образом они добрались до небольшого темного сарая, где была спрятана заржавленная, гигантских размеров борона. Льюишэм удивлялся, как это его спутница совсем не запыхалась после такого бега.

Она присела на борону и сконфузилась.

— Нет, я все-таки должна снять шляпу, — сказала она, — не то дождь испортит ее.

Льюишэм не упустил случая убедиться, что локоны у нее не фальшивые, — хотя он никогда и не сомневался в этом. Она наклонилась над шляпкой, грациозно вытирая серебристые капельки носовым платком. Он стоял у входа в сарай и любовался пейзажем, окутанным мягкой дымкой апрельского дождя.

— На этой бороне довольно места для двоих, — сказала она.

Он пробормотал что-то невнятное, вроде отказа, но все-таки подошел и сел рядом с ней, совсем близко, так что почти касался ее. Он чувствовал: невероятно хочется схватить ее в объятия и поцеловать, и лишь с большим усилием отогнал от себя эту безумную мысль.

— Я даже не знаю вашего имени, — сказал он, надеясь в разговоре найти спасение от таких опасных мыслей.

— Гендерсон.

— Мисс Гендерсон?

— Да, мисс Гендерсон.

Ее глаза, вся атмосфера, окутывавшая ее, — действовали удивительно странно. Он никогда еще не испытывал такого ощущения, такого странного волнения, почти близкого к слезам. Ему хотелось узнать не только ее фамилию — но ее имя; хотелось назвать ее дорогой — и посмотреть, что она скажет. Вместо этого он пустился в подробное описание своего столкновения с Боновером, рассказал, как он солгал относительно нее и назвал ее мисс Смит — и это помогло ему удержаться.

Шорох дождя за стенами сарая постепенно стихал и, наконец, замер. Солнце опять весело засияло над далеким лесом — там, за выгоном. Как-раз в эту минуту разговор их был снова прерван паузой — и во время этой паузы м-р Льюишэм был полон самых дерзких мыслей. Он вдруг передвинул свою руку и положил ее сзади девушки, на край бороны.

— Пойдемте, — сказала она вдруг, — дождь перестал.

— Эта узенькая тропинка ведет прямо к выгону.

— Но ведь меня будут ждать в четыре часа.

Он вынул часы и сдвинул брови: было уже почти четверть пятого.

— Уже больше четырех? — спросила она, и оба вдруг поняли, что разлука близка. Что Льюишэму самому нужно быть на дежурстве с половины пятого — об этом он вовсе не думал. Это казалось ему такими пустяками!

— Правда, — сказал он, с трудом начиная понимать, что они расстанутся навсегда. — Правда... Но разве вам так необходимо идти? Мне — мне нужно поговорить с вами.

— Разве вы все это время не говорили со мною?

— Это не то, и потом... нет.

Она стояла и смотрела на него.

— Я обещала быть дома к четверем. У миссис Фробишер как-раз пьют чай...

— Мы, может быть, никогда больше не встретимся.

— Ну так что же?

Льюишэм вдруг весь побелел.

— Не уходите, — с неожиданной дрожью в голосе сказал он, прерывая натянутое молчание. — Не уходите. Побудьте со мною еще... еще немножко. Вы... вы одна можете заблудиться.

— Вы, кажется, думаете, — сказала она с принужденным смехом, — что я могу обходиться без пищи и питья?

— Мне столько нужно сказать вам. В первый раз, когда я увидел вас... Сначала я не смел... я не знал, позволите ли вы мне говорить... а теперь, как-раз, когда я... счастлив, — вы уходите.

Льюишэм вдруг остановился. Она потупила глаза.

— Нет, — сказала она, чертя круг на земле кончиком ботинка. — Нет, я не уйду.

Льюишэм едва удержался, чтобы не крикнуть от радости: «Так мы пойдем на Имерин?».

Идя вслед за ней по узенькой тропинке — по мокрой траве, он чистосердечно признался ей, насколько он дорожит ее обществом.

— Этой прогулки я не променял бы... — он оглянулся вокруг, ища, чем бы пожертвовать, — ни на что в мире... Я не пойду на дежурство. Мне все равно, пусть будет, что будет, лишь бы нам сегодня быть вместе.

— И мне все равно, — сказала она.

— Спасибо вам, что пришли, — вскричал он в порыве благодарности. Спасибо, что пришли! — он протянул руку, а она взяла и пожала, и так они шли рука об руку до самой деревни. Их смелое решение прогулять назначенный срок удивительно сблизило их. — Я не могу называть вас мисс Гендерсон, — сказал он. — Вы

понимаете — не могу. Знаете ли... скажите мне ваше крестное имя.

— Этель.

— Этель. — Он посмотрел на нее, собираясь с духом. — Этель — красивое имя. Но никакое имя не может быть достаточно красиво для вас, Этель...

Лавочка в Имерине помещалась в глубине палисадника, полного желтофиолей. Хозяйка — веселая, проворная толстуха, ни за что не хотела верить, что они не брат и сестра, и называла их обоих «миленькими». Ввиду этого, она напоила их удивительно вкусным чаем, который стоил необычайно дешево. Обоим казалось, что они никогда не пили такого вкусного чая и никогда не ели такого вкусного хлеба с маслом и брусничным вареньем.

На столе в кружке стояли желтофиоли — от них веяло острым, тяжелым запахом; когда Льюишэм и его спутница уходили, толстуха-лавочница убедила их взять одну ветку с собою.

Скандальной эта прогулка сделалась, собственно, уже после того, как они вышли из Имерина. Солнце уже превратилось в золотой шар, спускавшийся к синим холмам на западе — в лучах его фигуры молодых людей казались огненными — а они, вместо того, чтобы идти домой, пошли по Уэнтвортской дороге, углубляющейся в Форшауский лес. Позади их над вершинами деревьев висел почти полный месяц, призрачный и туманный, и понемногу вбирал в себя свет, оставшийся на небе после заката солнца.

Выйдя из Имерина, они стали говорить о будущем. Очень юные влюбленные признают только самое ближайшее будущее и не заглядывают далеко вперед.

— Вы должны писать мне, — сказал он, а она возразила, что пишет такие глупые письма.

— Я буду исписывать целые стопы бумаги, — сказал он.

— Но как же вы будете писать мне? По какому адресу? — Они стали обсуждать это новое препятствие. На дом невозможно писать — абсолютно невозможно. Это для нее не подлежало сомнению. — Моя мать... — начала она и запнулась.

Это запрещение кольнуло его — он был способен писать ей письма необятных размеров. Но что же делать: этого следовало ожидать. Весь мир неблагоприятен к ним — жесток... Ну что ж? Это будет дивное уединение вдвоем.

Нельзя ли ей посылать письмо на чье-нибудь имя? Но это ей казалось обманом.

Так шли они рука об руку, юные, радостные, полные счастья от сознания, что они любят и, в то же время полные такой юношеской робости, что слово «любовь» в этот день ни разу не сорвалось ни у одного из них. Ласковые сумерки кругом них все больше сгущались, голоса их звучали все тише и сердца бились все чаще.

Если записать их речи — они, может быть, покажутся пошлыми, поэтому я не стану приводить их здесь. Но им — то, что они говорили, не казалось пошлым.

Когда, наконец, они вышли на большую Уортлейскую дорогу, молчаливые деревья были черны, как чернила. Ее лицо при лунном свете казалось бледным и странным, а глаза у нее сияли, как звезды. Она все еще несла в руке ветку терновника, хотя белые цветы почти все осыпались. Желтофиоли продолжали благоухать. Издали, смягченная расстоянием, доносилась музыка. Это Уортлейский оркестр первый раз в этом году играл на площадке перед домом викария, играл медлительную и сентиментальную арию. Не знаю, известна ли читателю эта любимая песенка начала восьмидесятых годов, нежная, с медленным темпом и с неизменным припевом «пум-пум».

«Выплывают лица из страны мечтаний (пум-пум),
Дни былого счастья, дни былых страданий»...

Это «пум-пум» звучало удивительно весело, до странности весело в сравнении с заунывным напевом и грустным содержанием песни. Но молодежь воспринимает все по своему.

— Люблю музыку, — сказала она.

— И я.

Они стали спускаться по крутому наклону Уест-стрита, мимо оркестра, гремевшего теперь во всю своими медными инструментами и барабанами. Тут они попали в полосу света от небольшого круга желтых ламп. Несколько человек обратило внимание на Льюишэма и его даму — и подивились: до чего нынче дошли мальчишки и девчонки; а один очевидец, рассказывая об этом впоследствии, даже нашел такое поведение «бесстыдством». Мистер Льюишэм был в своей четырехугольной студенческой шапочке — не узнать его было нельзя. Когда шли мимо школы — сквозь окно увидали за столом желтую фигуру м-ра Боновера: он дежурил за своего отсутствовавшего помощника. Перед домом Фробишеров они, наконец, расстались — поневоле.

— Прощайте, — повторил он в третий раз, — прощайте, Этель.

Она колебалась, потом вдруг кинулась к нему. Он почувствовал ее руки у себя на плечах и ее мягкие, теплые губы на своей щеке, но сам обнять ее не успел: она ускользнула и скрылась в тени дома. — Прощайте, — прозвенел оттуда нежный ласковый голосок и, пока он придумывал, что ответить, дверь уже отворилась. Льюишэм увидел ее темную фигуру в дверях, услышал какие-то невнятные слова; потом дверь захлопнулась, и он остался один. Луна светила по-прежнему, щека у него еще горела от ее поцелуя...

Так кончился первый день знакомства м-ра Льюишэма с Любовью.

РАСПЛАТА

Вслед за днем любви, наступили дни расплаты. М-р Льюишэм был удивлен, почти подавлен тяжестью этой расплаты, этого возмездия, развертывавшегося медленно и беспощадно. Дивные ощущения, пережитые им в субботу, поддерживали его все воскресенье. Вспоминая о заброшенной «схеме», он утешал себя тем, что она — его вдохновение, и что для нее — он будет работать в тысячу раз лучше, чем работал бы для себя. Это, конечно, было неправдой, и уже через полчаса он дивился, почему его абсолютно перестало интересовать богословское исследование Бутлеровой Аналогии. Фробишеров не было в церкви ни на одной службе, и Льюишэм не без тревоги задумывался: почему бы это?

Понедельник занялся холодный и ясный — нечто в роде Герберта Спенсера в ряду других дней — и м-р Льюишэм пошел в школу, усердно уверяя себя, что бояться нечего. Дежурные все утро перешептывались, очевидно, о нем, и на Фробишера 2-го был большой спрос. Льюишэм, проходя, случайно услышал фразу: «А уж мать как извелась!» Говоривший был Фробишер 2-ой.

В двенадцать имело место интервью с Боновером, при чем до старшего помощника Дэнкерлея, сквозь запертую дверь директорского кабинета, доносились громкие и сердитые, спорившие между собою голоса. Затем, через классную прошел Льюишэм, глядя прямо перед собою, щеки у него горели.

Таким образом, Дэнкерлей был уже подготовлен к новости, которую он узнал на следующее утро.

— Когда? — спросил Дэнкерлей.

— В конце следующей четверти.

— Из-за той барышни, что гостила у Фробишеров?

— Да.

— Хорошенькая, лакомый кусочек. Однако, это помешает вам быть внесенным в матрикулы в будущем июне.

— То-то мне и досадно.

— Вряд ли он даст вам отпуск, чтобы держать экза...

— Не даст, — отрезал Льюишэм и раскрыл первую попавшуюся тетрадку. Ему трудно было говорить.

— Негодай, — сказал Дэнкерлей, — а впрочем, чего иного и ждать от Дэргэма.

Боновер имел диплом только из Дэргэмского университета, и Дэнкерлей, не имевший никакого — склонен был относиться к Боноверу критически. После этого Дэнкерлей принялся усердно и шумно перелистывать ученические тетрадки и к прерванному разговору с Льюишэмом вернулся только тогда, когда число тетрадок значительно уменьшилось.

— «Сотворивый мужчину и женщину — сотворил их», — сказал Дэнкерлей, продолжая подчеркивать ошибки и постепенно приближаясь к концу страницы, — и это (чирк-чирк) легло тяжким бременем (чирк-чирк) на младших учителей.

Он захлопнул книгу и через плечо швырнул ее на пол.

— Вам повезло! — сказал он, — а я думал, что мне первому удастся выбраться из этой проклятой норы. Здесь всегда надо играть комедию. На каждом углу натыкаешься на родителей или надзирателей. Вот почему я не терплю жизни в провинции. Здесь все манерно и ходульно. Будьте спокойны, я употреблю все усилия, чтобы выбраться отсюда как можно скорее.

— И пустите в ход свои аттестаты?

— А то как же? Само собою. Разумеется, пушу в ход. Патентованная бутылочка всюду пройдет. Господи! Да только дайте мне добраться до Лондона...

— Мне кажется, что и я мог бы зашибить копейку в Лондоне, — сказал Льюишэм.

Тут многоопытный Дэнкерлей, добрейшая душа, забыв собственные честолюбивые мечты — а у него были широкие замыслы — стал раздумывать вслух, наставляя и поучая молодого коллегу. Он дал ему адреса всевозможных агентств, оказывающих помощь молодым людям в таком положении: агентство Ореллана, агентство Габитас, агентство Ланхэстер Гэйт. Все эти агентства он знал, как свои пять пальцев. Не даром они водили его за нос в течение восьми лет.

— Разумеется, эта кенсингтонская штука может удаться, — соображал Дэнкерлей, — но лучше не ждать. Говорю вам откровенно: все шансы против вас.

«Кенсингтонской штукой» он называл хлопоты о принятии в нормальную учительскую школу в южном Кенсингтоне, куда Льюишэм однажды, в момент оптимистического настроения духа, послал прошение. В Англии чувствуется недостаток в образованных преподавателях и потому Департамент Наук и Искусств предлагает избранным молодым педагогам бесплатное прохождение курса в центральном учительском институте (и, кроме того, гинеею в неделю), если только стипендиаты дадут обязательство заняться преподавательской деятельностью по окончании курса. Дэнкер-

лей уже несколько лет подавал прошения, каждый раз напрасно, и Льюишэм думал: отчего бы ему не последовать этому примеру. Ведь у Дэнкерлея не было серо-зеленого диплома, какой был у Льюишэма.

На следующий день Льюишэм был дежурным и все свободное время посвятил составлению письма, которое надлежало переписать в нескольких экземплярах и разослать в различные агентства снабжения местами учителей. В этом письме он кратко, но выразительно излагал свою биографию, распространяясь в особенности об усвоенных им привычках дисциплины и методах самообразования. В конце был приложен длинный и декоративный список его дипломов и отличий, начиная с похвального листа, полученного им в восьмилетнем возрасте. Переписка этого документа заняла изрядное количество времени, но скромность поддерживала нашего героя. После тщательного исследования таблицы расписания времени, он решил уделить час полуденного отдыха на «корреспонденцию».

Оказалось, что по математике и классикам он успел за это время уже несколько отстать: в смутную эпоху после встречи с Боновером в аллее Льюишэм послал своему наставнику сочинение — и теперь сочинение это было возвращено назад, со множеством помарок и надписью: «не может быть удостоено переводного балла». Ничего подобного с ним раньше не случалось, и это так раздосадовало м-ра Льюишэма, что одно время он собирался написать своему профессору язвительное письмо. А затем наступили пасхальные каникулы: надо было ехать домой и сообщить матери (конечно, без излишних подробностей) что он покидает Уортлэй... — «Где тебе было так хорошо!» — воскликнула мать.

Бедной, доброй лэди было дано одно утешение. Она заметила, что сын не носит больше очков — он забыл захватить их с собою. Ее страхи, что сын скрывает от нее какую-то серьезную болезнь глаз — рассеялись.

Иногда Льюишэм испытывал приливы жгучего раскаяния по поводу безумной прогулки с Этелью. Однажды такое раскаяние охватило его после каникул: нужно было проверить сроки, обозначенные в «Схеме», и эта проверка показала ему в первый раз наглядно и ясно практический результат первой борьбы с могучими и таинственными влияниями, кроющимися в душе человека и пробуждающимися к жизни весною. Его мечта об успехах и славе — была для него очень реальна, была дорога его сердцу, а теперь он убедился, что долговое поступление в университет, это преддверие ко всему прочему, по необходимости отодвигается все дальше и дальше. Печальный вывод захватил его врасплох — и прямо как-то физически стало больно в груди.

Он вскочил и забегал по комнате с пером в руке.

— Какой же я был дурак! Какой непроходимый дурак!

Он швырнул перо на пол и кинулся к довольно скверному рисунку на стене, покушавшемуся изобразить девичье личико — наглядному свидетелю его рабства. Он сорвал этот рисунок и разорвал его в клочки...

— Болван!

Это было облегчением. Порешив окончательно выкинуть ее из головы, он вздохнул свободнее. С минуту он созерцал картину произведенного им разрушения, затем вернулся к своей таблице, бормоча что-то насчет «глупого ребячества».

Это было только одно из настроений, и оно приходило реже других. С каждой почтой он все с большим нетерпением ждал письма с указанием адреса, по которому он мог бы писать Этели; этот адрес ему хотелось получить куда больше, чем самый ответ на свои письма, составление которых отнимало у него теперь столько времени, что на задний план отошли и Гораций, и высшая математика. На сочинение писем к Этели — он тратил больше времени, чем на перечисление своих заслуг и добродетелей в разных прошениях.

И однако же эти письма были удивительными произведениями в своем роде. Каждое он писал особым пером, и, по красоте почерка (по крайней мере на первой странице) — каждое письмо было шедевром.

Дни шли за днями, а письмо, которое он надеялся получить, все не приходило.

Дурное настроение м-ра Льюишэма усложнялось тем обстоятельством, что, несмотря на его сдержанность и упорное молчание, причина его увольнения из школы удивительно быстро сделалась известна всему Уортлею. О нем говорили, что он «слишком поторопился», а поведение Этели уортлейские дамы единодушно осуждали, если можно так выразиться, с добродушным негодованием, и при этом добавляли, что миловидная наружность нередко служит источником соблазна. Один школьник, когда Льюишэм проходил мимо него — громко крикнул: «Этель!» — и был выдран за уши. Местный викарий — из породы неуклюжих, бледнолицых и нервных, — проходя мимо, всякий раз делал вид, что никогда и не слышал о существовании Льюишэма. Мистрисс Боновер не упускала случая напомнить ему, что он еще «совсем мальчик», а миссис Фробишер, встретившись с ним на улице, так грозно засопела, что он даже подпрыгнул от неожиданности.

Это общее неодобрение по временам угнетало м-ра Льюишэма, но бывали у него и такие настроения, когда он находил это очень забавным, и нередко хвастался своей храбростью перед Дэнкерлеем. Порой он говорил себе, что переносит это ради нее. Как бы там ни было, приходилось терпеть.

К этому времени он уже начал замечать, как мало свет нуждается в молодом человеке девятнадцати лет (он назвал себя девятнадцатилетним, хотя ему было всего восемнадцать лет и несколько месяцев), даже в том случае, когда этот молодой человек, вдобавок к своей молодости, силе и энергии — имеет награды за хорошее поведение и за успехи в науках, и превосходные аттестаты на гербовой бумаге, за подписью известного инженера, гарантирующие его познания в черчении, мореходной астрономии, животной физиологии, физиографии, неорганической химии и строительном искусстве. Вначале Льюишэм воображал, что за него уцепятся все директора школ, а теперь, оказывалось, он сам цепляется за них — и напрасно. Он сделался настойчивее в своих просьбах относительно вакантных мест, но эта настойчивость ничуть не помогла горю. Он стал писать прошения все длиннее и длиннее: иной раз такое прошение занимало четыре листка почтовой бумаги, стоимостью в целый пенни. «Могу вас уверить, писал он, что вы найдете во мне честного и преданного помощника...» и еще многое в том же роде. Дэнкерлей обратил внимание Льюишэма на то обстоятельство, что в аттестате, выданном Боновером, заметно игнорировался вопрос о нравственности и дисциплине, но Боновер не захотел пополнить этого пробела. Он, по его словам, готов сделать все, чтобы помочь Льюишэму, несмотря на то, что Льюишэм так неделикатно обошелся с ним, — но к несчастью, совесть не позволяет ему...

Раза два Льюишэм изменил даже текст аттестата — но и это не помогло. Май уже на половину прошел, а из южного Кенсингтона ответа все не было. Будущее было довольно-таки мрачно.

В самый разгар сомнений и разочарований пришло письмо от нее. Оно было написано на машине, на тонкой бумаге. В заголовке стояло одно слово «дорогой», и Льюишэму казалось, что не может быть обращения милее и прелестнее, хотя в действительности все дело было только в том, что она забыла его имя, а потом забыла, что оставила пустое место для имени.

«Дорогой, я не могла написать раньше, потому что у меня дома нет местечка, где бы я могла написать письмо, а м-с Фробишер наврала моей матери всяких глупостей относительно вас. Моя мать страшно удивила меня, — я не ожидала этого от нее. Она ни словом меня не предупредила... Но об этом я вам расскажу в следующем письме. Сейчас я слишком сердита, чтобы писать об этом. Даже и теперь вы мне не можете ответить, потому что сюда адресовать писем нельзя. Это — невозможно. Но я думаю о вас, дорогой (слово «дорогой» было вытерто резинкой и написано вновь) — и должна написать, чтобы сказать вам об этом, и еще сказать, что я помню нашу милую прогулку, хотя писать может быть, больше и не буду. Я теперь очень занята. Работа

у меня довольно трудная, и я боюсь, что я немножко глупа для нее. Трудно интересоваться чем-нибудь только потому, что вам приходится этим жить — не правда ли? Я думаю, что вы чувствуете иногда то же самое относительно школы. Но, я полагаю, всем приходится иногда делать то, чего они не любят. Не знаю, когда я опять приеду в Уортлей, но вы наверно сами приедете в Лондон. М-с Фробишер наговорила ужасных вещей. Хорошо бы, если бы вы приехали в Лондон; тогда мы, быть может, могли бы видаться. В Чэлси есть школа для мальчиков старшего возраста, и я каждое утро, проходя мимо, жалею, что вы не там. Тогда вы выходили бы мне навстречу, в своей шапочке и плаще. И вдруг, в одно прекрасное утро я увижу вас здесь, — вот будет хорошо!»

В таком духе было все письмо, заключавшее в себе до странности мало фактических данных и неожиданно обрывавшееся словами: «Прощайте, дорогой». Внизу было приписано карандашом: «Прощайте, милый» и еще ниже: «Думайте обо мне иногда».

Читая это письмо, в особенности, это «дорогой», в начале письма, — Льюишэм испытывал странное стеснение в груди и в горле, как-будто его душили слезы. Но вместо того, чтобы заплакать, он засмеялся и зашагал из угла в угол по комнате, глаза у него блеснули, в руке он сжимал драгоценный листок. Это словечко «дорогой» она как-будто сама сказала, — как-будто он вдруг услышал ее голос. Припомнилось их прощание, чистый, звонкий голосок, прозвучавший из темноты, когда он стоял в заливом лунным светом палисаднике.

Но зачем же это: «Хотя я, может быть, и не буду больше писать» и этот оборванный конец? Разумеется, он будет думать о ней.

Это письмо было единственным. Оно очень скоро протерлось на губах.

В начале июня Льюишэм стал испытывать чувство одиночества, внезапно сменившееся почти нестерпимым желанием видеть ее. Он смутно мечтал поехать из Лондона в Клапгэм, разыскать ее. Но в Клапгэме не так легко разыскивать людей, как в Уортлее. Раз он целые полдня провел в сочинении письма к ней, писал и переписывал его без конца, чтобы быть готовым к тому дню, когда она придет свой адрес. Если только она придет его... Он долго безутешно бродил по деревне, а часов в семь, когда взошла луна, пошел по тем тропинкам, где они гуляли вместе, припоминая шаг за шагом всю эту памятную прогулку.

По тьме сарая он довел себя до того, что начал говорить вслух, как будто она была здесь, и наговорил много красивых, мужественных слов.

Он нашел маленькую старушку, которая тогда угощала их чаем с вареньем — старушка сидела со свечой у окна — Льюишэм

выпил у нее бутылку имбирного пива, с таким видом, как-будто священнодействовал. Маленькая старушка не без лукавства осведомилась о его сестре. И он обещал когда-нибудь притти вместе с ней. «Я непременно приведу ее», сказал он. В беседе с старушкой как-будто притупилось горькое чувство одиночества. По дороге домой, сквозь белый сумрак летней ночи, это чувство мало-по-малу перешло в тихую грусть, такую прекрасную, что под конец от этой грусти было даже приятно.

На другой день после этого, м-с Мундэй, убирая комнату, увидела на стене новый «текст», удививший и заинтересовавший ее. Это была таинственная и вместе знакомая надпись, старо-английскими буквами, каллиграфически исполненная и гласившая: *Misrah*.

Где она видела это слово?

Вначале, оно господствовало над всею комнатою, красовалось, как триумфальный флаг над «Правилами жизни», таблицей распределения времени и даже «Схемой». Раз как-то оно исчезло, но на другой день появилось снова. Позднее, оно на половину скрылось под расписанием ученических вакаций и на полях даже появились какие-то заметки карандашом.

Когда, наконец, пришло время укладываться и выезжать из Уортлея, м-р Льюишэм снял этот «текст» и использовал его (а также и «Схему» и таблицу распределения времени) на то, чтобы застлать дно желтенького сундучка, куда он уложил свои книги; это были преимущественно те книги, по которым он готовился к вступительному университетскому экзамену, ныне отложенному...

КАРЬЕРА ТОРЖЕСТВУЕТ

История наша делает перерыв в два с половиною года и, возвращаясь, находит м-ра Льюишэма уже гораздо более зрелым, уже не юношей, а мужчиной — по крайней мере, с точки зрения закона — взрослым и совершеннолетним мужчиной двадцати одного года. Действие происходит уже не в Уортлее с его садами, зеленым парком и выгонами, а на сером просторе западного Лондона.

И об Этели нет больше помину. Обещающее ею второе письмо так и не пришло. Правда, в первые месяцы своего пребывания в Лондоне, м-р Льюишэм провел немало послеобеденных часов, бродя по Клапгэму, этой бесплодной людской пустыне, но желанная встреча так и не состоялась. В конце концов, молодость, с ее благодатной способностью возрождаться телом и душой, взяла свое, и м-р Льюишэм начал забывать.

Поиски, куда бы пристроиться, совершенно неожиданно увенчались успехом. Повидимому, серозеленые дипломы годны иногда не только для того, чтобы украшать стены: когда Льюишэм уже отчаивался найти себе какое-нибудь занятие, из министерства народного просвещения пришла чудесная голубая бумага, сулившая невероятные вещи. Ему предлагали приехать в Лондон и получать по гинее в неделю за слушание лекций — участь, превосходящая самые честолюбивые его мечты! В числе имен, плававших в тумане перед его глазами, было имя Гексли — Гексли и Локайера! Какая неожиданная удача! Удивительно ли, что в течение трех лет он думал исключительно о карьере?

Вообразите себе м-ра Льюишэма, идущего в Нормальную Школу (в последнее время эта школа носит название Королевского Колледжа). Дело происходит уже в начале третьего учебного года. В правой руке у м-ра Льюишэма блестящая черная сумка, туго набитая руководствами, выписками и письменными принадлежностями, в левой — книга, которой не нашлось места в сумке, книга с золотым обрезом, в прекрасном переплете, тщательно закрытом коричневой бумажной обложкой.

Пропущенные нами два с половиною года сказались на наружности м-ра Льюишэма: на верхней губе у него появились не бью-

шие в глаза, но несомненные усики прибавилось вершка на два роста, и в манере держать себя — стало меньше самонадеянности. Теперь он уже не чувствует себя предметом общего внимания, как чувствовал в восемнадцать лет; он даже начинает сознавать, что весьма многие люди совершенно равнодушны к факту его существования. Но если в его обращении меньше самонадеянности, то, несомненно, доверия больше: он держит себя, как человек, которому недурно живется на свете.

Его костюм, за одним исключением, умеренно-черного цвета: это — траур, порывевший от носки, немножко «ржавый». Траур он носит по матери, которая умерла за год до возобновления нашего рассказа и оставила ему имущество, превращенное им в деньги — около ста фунтов; деньги лежат в сберегательной кассе и расходуются только на самое необходимое, как-то: плата за право учения в университете, книги и инструменты — словом на то, что должно способствовать блестящей карьере м-ра Льюишэма. Как студент, несмотря на свою Уортлейскую неудачу, он бесспорно делал блестящую карьеру и поглощал свидетельства и дипломы с быстротой огня, пожирающего бумагу.

(Наблюдая за ним, сударыня, вы непременно обратили бы внимание на его воротничок — удивительно блестящий, цветом напоминающий мокрую резину. Воротничок этот, в сущности, не имеет никакого отношения к нашей истории, но я знаю, что должен упомянуть о нем, прежде чем продолжать, — иначе вы будете невнимательны. У Лондона есть свои тайны и помимо этого странного глянца на воротничках. Вы протестуете: «Дешевые прачки всегда пересинивают белье. На воротничке должны бы быть пятна от синьки, бахрома по краям, слишком свободные петли; он мог бы натирать шею. Но этот глянец»... Вы непременно захотели бы присмотреться поближе и, в конце концов, дотронулись бы точно до поверхности склепа — холодной и влажной. Видите ли, сударыня, воротничок этот был из патентованной непромокаемой ткани. *Такой воротничок можно вымыть на ночь зубной щеткой, повесить на спинку стула для просушки, и на утро он будет как новый. У м-ра Льюишэма этот воротничок был единственный. Это сберегало ему, по меньшей мере, три пенса в неделю, а для будущего педагога, слушающего лекции в учительском институте и живущего на гиней в неделю, выдаваемую отечески заботливым, но экономным правительством, — для будущего педагога и три пенса — деньги. Льюишэм не сразу дошел до этого великого открытия. Он впервые увидел свой воротничок в окне магазина гуттаперчевых вещей, на дне стеклянного сосуда, в котором недовольно металась золотая рыбка. И Льюишэм тут же сказал себе, что ему почти нравится этот глянец).

Но вы, конечно, не ожидали увидеть на нем ярко-красный гал-

стук — ярко-красный, какие носят сторожа юго-западных железных дорог. Помимо этого галстука, в его костюме не было и тени франтовства. М-р Льюишэм отказался даже от тщеславного своего обыкновения носить очки. Красный галстук навел бы вас на разные мысли... Где вы видели толпу людей, преимущественно в красных галстуках, как будто имеющих символическое значение? Что делать! Придется сказать правду: м-р Льюишэм — сделался социалистом.

Этот красный галстук — только видимый, внешний знак происшедшей в нем внутренней, душевной эволюции. Льюишэм, несмотря на добросовестную подготовку к ученой карьере, за это время успел прочитать до конца Бутлерову аналогию, да и не одну аналогию, а и еще много других книг; он рассуждал, доказывал, терзался сомнениями, и, в безмолвии ночей, просил у бога веры — веры, которая должна быть ниспослана немедленно, если только господь бог действительно ценит м-ра Льюишэма. Тем не менее, веры этой — м-ру Льюишэму ниспослано не было... Его понятие о своем назначении в мире уже не ограничивалось стремлением выдержать экзамены и достичь некоторой известности в области адвокатуры и политики «в интересах либерализма». М-р Льюишэм ознакомился с такими сторонами общественного строя, каких не замечал и не мог заметить в Уортлее; м-р Льюишэм уже начинал испытывать приступы смутной тоски, переходящей иногда в мучительную скорбь, и полное отчаяние, которым так часто бывает окрашена человеческая жизнь в современном Лондоне. Особенно поражали Льюишэма резкие контрасты, принимавшие в его глазах символическое значение. С одной стороны, рабочее население Уэстборнского парка, устраивающее стачки, тощее, голодное; дети, просящие милостыню, по щиколку в черной грязи; толпа истомившихся голодом людей возле бесплатной столовой; с другой — всего через две улицы — Уэстборн-Гров; ослепительные витрины; нарядная толпа в магазинах; шумное движение кэбов и колясок; повсюду роскошь и мотовство; хорошенькие, нарядные женщины загораживают путь усталому, торопящемуся домой, студенту в дырявых сапогах и потерявшем фасон костюме. Мораль была несомненно подсказана собственными ощущениями студента, не очень-то приятными. Но это, в конце концов, один из представляющихся на каждом шагу случаев для наглядных сопоставлений.

В душе Льюишэма жило глубокое убеждение, — или, если хотите, инстинкт, — твердивший, что человеческие существа не должны быть счастливы в то время, как другие, рядом с ними, несчастны; этот веселый блеск роскоши и богатства казался ему преступным. Он еще верил, что человек даст ответ за то, как он прожил свою жизнь. Как-раз в это время Льюишэму попались в

руки «Прогресс и Бедность» и несколько разрозненных номеров «Государства», и он без всякого труда усвоил себе теорию, противопоставляющую лукавых, вступивших между собою в заговор капиталистов и землевладельцев — безупречным и праведным мученикам-рабочим. С тех пор он сделался социалистом. Необходимость проявить чем-нибудь фактически свою новую веру представлялась ему такой настоятельной, что он пошел (великий исторический момент) и купил красный галстук.

— Пожалуйста, цвета крови, — кротко сказал Льюишэм молодой особе, стоявшей за прилавком.

— Какого цвета? — воскликнула та.

— Ярро алого, пожалуйста, — краснея, пояснил Льюишэм, — и большую часть вечера провел, завязывая на разные манеры свой галстук, при чем потратил на это не мало труда. Это занятие было ему в новинку. Прежде он всегда носил готовые галстуки.

Так Льюишэм провозгласил социальную революцию.

В первый же раз, когда м-р Льюишэм вышел на улицу в своем символическом галстуке — ему попался навстречу полицейский обход, маршировавший гуськом по Бромптон-роду. Льюишэм, завидя полицейских, начал напевать марсельезу и, продолжая напевать, прошел мимо, бросив им многозначительный взгляд. Но это было уже несколько месяцев тому назад, и за эти месяцы Льюишэм успел уже привыкнуть к красному галстуку.

Он отворил двери кованого железа и очутился в приемной Нормальной Школы. Приемная была полна студентов: студенты стояли с книгами, сумками и ящиками для инструментов; студенты толпились кучками и разговаривали; студенты читали вставленные в рамки за стеклом программы прений литературного кружка; студенты покупали у постоянного поставщика школы записные книжки, карандаши, резинки и чертежные принадлежности. Мелькало много новичков не стипендиатов — юношей и молодых людей в черных сюртуках и цилиндрах; еще больше было одноклассников Льюишэма, грубых, с неприятными голосами, до смешного плохо одетых и неуклюжих. На одном м-р Льюишэм заметил морскую фуражку с золотым галуном, другой держал в руках прехорошенькие серые дамские, замшевые перчатки и митенки. В толпе шнырял Груммет, школьный библиотекарь.

— Социалист, — сострил кто-то.

Льюишэм сделал вид, что не слышит, и покраснел до ушей. Ему часто хотелось отвыкнуть от этой способности густо краснеть, совершенно неприличной для мужчины его возраста. Он тщательно отворачивался от программы литературного кружка, где красовалась его фамилия — «Пятница. Д. Э. Льюишэм о социализме», — и пробирался в дальний угол приемной, чтобы рас-

писаться в книге. Вдруг его окликнули по фамилии раз и другой. Он попал в группу товарищей, и в течение нескольких минут рукопожатия и дружеские шутки не давали ему добраться до книги.

По соседству, один из студентов говорил про него только что поступившему земляку. «Это животное Льюишэм — страшный ловкач. В прошлом году он перешел вторым. Известно — зубрилка. Но только и дурачье же все эти зубрилки. Экзамены — литературный клуб — опять экзамены — жизни и не понюхают и, как живут люди, не слыхивали. Помилуй, да он за весь год даже и в мюзик-холле не побывает!»

Льюишэм услышал резкий свисток, бросился к лифту и только успел сесть, как машина стала подыматься. Лифт был неосвещен и полон черных теней; явственно было можно различить только фигуру управлявшего лифтом машиниста. Льюишэм стал вглядываться в смутно белевшие перед ним лица; в это время женский голос назвал его по имени.

— Это вы, мисс Гейдингер? Я не видал вас. Надеюсь, вы приятно провели вакации?

IX

АЛИСА ГЕЙДИНГЕР

Добравшись до верхнего этажа, молодой человек посторо­нился, чтобы дать дорогу единственной, оставшейся возле него спутнице. Спутница была та самая мисс Гейдингер, которая за­говорила с ним в лифте, владелица книги с золотым обрезом в коричневой бумажной обложке. Она одна поднялась с Льюишэ­мом на самый верх. Остальные вышли в «астрономическом» и «химическом» отделениях, но эти двое с третьего курса избрали оба своей специальностью зоологию, а зоология ютилась на чер­даке. Войдя в полосу света, девушка невольно покраснела, что для нее было редкостью. Льюишэм заметил перемену в ее ко­стюме. Она подметила на лице Льюишэма проблески удивления,— может быть, именно этого она и ждала.

На прошлом курсе — их дружбе теперь было уже около года — Льюишэму даже в голову никогда не приходило, что мисс Гейдингер может быть хорошенькой. Главное — и единствен­ное, что он мог припомнить, во время вакаций о ее наружности — это то, что ее волосы не всегда лежали гладко; если даже они были и в порядке, она все-таки не доверяла и то и дело нервно приглаживала их рукой. Он припомнил ее жест: разговаривая с кем-нибудь, она поминутно дотрагивалась до волос. После того он припомнил, что цвет этих волос был в общем красив — светло-каштановый. Но он совершенно забыл ее рот и не мог сказать, какого цвета у нее глаза. «Она носила очки, — это наверное. Костюма ее он не мог себе представить — это было что-то бес­цветное и бесформенное.

А между тем они виделись часто. Они были не на одном курсе, но познакомились в комитете школьного литературного кружка. Как-раз в то время Льюишэм открыл социализм. Это послужило темой для разговора, поводом к обмену мыслей. Девушка, пови­димому, находила что-то особенно интересное в мнениях м-ра Льюишэма, а случай благоприятствовал им — постоянно сводя их вместе то в школьных коридорах, то в образовательной библио­теке, то в художественном музее. По истечении некоторого вре­мени, эти встречи, повидимому, перестали быть случайными.

Льюишэм в первый раз в жизни подметил в себе способность интересно вести разговор. Девушка решила подстрекнуть в нем честолюбие — это было нетрудно. Она находила в нем необычайные дарования и думала, что она сумеет направить их на верный путь; она, бесспорно, развила в нем тщеславие. Она поступила в лондонский университет; в июле они вместе держали переходный экзамен на средний курс — она несколько неудачно, что послужило — как почти все в подобных случаях — новым звеном в их дружбе. Она провалилась на экзамене, но это ни мало не уменьшило уважения к ней Льюишэма. В дни экзаменов, в часы отдыха и завтрака, они, прогуливаясь под Бэрлингтонской аркой, рассуждали о дружбе вообще и тому подобных вещах (при чем Бэрлингтонская арка открыто потешалась над красным галстуком Льюишэма и намеренной невзрачностью наряда его собеседницы) и, между прочим, мисс Гейдингер не раз упрекала его за то, что он не читает стихов. Прощаясь на Пиккадилли после экзаменов, они уговорились во время вакаций — писать друг другу о поэзии и о себе самих, и тут она дала ему на время — правда, не без колебания — поэмы Россетти. Льюишэм начал забывать то, что вначале было для него вполне очевидно, а именно — что она года на три старше его.

Льюишэм провел каникулы у своего не очень симпатичного, но все же доброго дяди, строительного мастера. У дяди было шесть человек детей, старшему было одиннадцать лет. Льюишэм имел полную возможность быть в доме дяди приятным и полезным гостем. Помимо этого, он усердно работал, готовясь к самому важному третьему курсу — на этом курсе он решил особенно выдвинуться — и учился ездить на велосипеде. Он думал также о мисс Гейдингер, а она, повидимому, думала о Льюишэме.

С дядей, известным в своем городке консерватором, он нередко препирался на социальные темы. Приемы дяди в споре были крайне грубы. Социалисты, по его словам, были не что иное, как воры. Цель социализма — отнять у человека заработанное им и отдать «шайке мошенников и лентяев». А следовательно, богатые необходимы на свете. «Не будь состоятельных людей, как ты думаешь, чем бы я зарабатывал себе кусок хлеба? А? А с тобою бы что тогда было?» Социализм раздувают агитаторы для своей собственной выгоды — «вот берут деньги с таких птенцов, как ты, и тратят их на шампанское». После одного спора, дядя на все доводы Льюишэма отвечал одним словом «шампанское», произнося это слово раздраженным тоном и показывая мимикой, как наслаждаются этим напитком.

Естественно, Льюишэм чувствовал себя несколько одиноким и, быть может, подчеркивал это в своих письмах к мисс Гейдингер. Постепенно выяснилось, что и она чувствует себя несколько оди-

нокой. Они обсуждали вопрос об истинной дружбе, в отличие от обыкновенной, а отсюда — перешли к Гете и сродству душ. Льюишэм описал ей, с каким нетерпением он ждет ее писем, и письма стали приходить чаще. Ее письма были, бесспорно, хорошо написаны. Будь Льюишэм журналистом и более опытным человеком, он бы сообразил, что за каждым таким письмом она должна была посидеть целый день. Для Льюишэма перечитывать ее письма было большим утешением, особенно после расспросов практика-дяди, — на кой чорт Льюишэму нужны все его науки. Льюишэму понравился Россетти, но в общем он был удивлен пристрастием к нему мисс Гейдингер. Россетти такой чувственный, у него такой цветистый слог. Он не ожидал от мисс Гейдингер таких вкусов в поэзии.

Во всяком случае, он вернулся в школу, несомненно, более заинтересованный ею, чем в то время, когда они расставались. Смутное и довольно курьезное представление об ее наружности, как о чем-то обтрепанном и несколько небрежном, исчезло, как она только вышла на свет из темного лифта. Волосы ее были в порядке; когда свет упал на них, они показались Льюишэму даже красивыми; одета она была в темнозеленое с черной отделкой, хорошо сшитое платье, падавшее свободными складками, по тогдашней моде. Платье это придавало какой-то теплый оттенок ее лицу — именно то, чего не доставало прежде. Шляпа тоже была не такая неуклюжая, как в прошлом году. Женщина непременно поняла бы, что та шляпа, которая теперь была на мисс Гейдингер сделана по специальному заказу. Она, бесспорно, шла к мисс Гейдингер, но описать ее... — романисту-мужчине такие описания не по плечу.

— Ваша книга у меня с собой, мисс Гейдингер, — сказал Льюишэм.

— Я рада, что вы написали эту статью о социализме, — сказала она, принимая от него книгу в коричневой обложке.

По маленькому коридорчику они пошли вместе к биологической лаборатории. Возле вешалки мисс Гейдингер остановилась, чтобы снять шляпу: в этой школе такие бессовестные порядки, что студентке приходится публично, при всех, снимать шляпу и публично же облекаться в полотняный передник, без которого не полагается входить в лабораторию. Даже зеркала нет!

— Я приду слушать вас, — сказала она.

— Надеюсь, что статья вам понравится.

— А на каникулах я собирала разные сведения о привидениях, — помните наши споры? Я только не хотела говорить об этом в письмах.

— Мне жаль, что вы так упрямы. Я думал, что это уж прошло.

— А читали вы Беллами?

— Не читал, но хотел бы прочесть.

— У меня он здесь, вместе с другими книгами; если хотите, я дам вам. Дайте мне только добраться до моего стола, у меня руки полны.

Они вошли в лабораторию вместе. Льюишэм учтиво придержал дверь открытой, пока мисс Гейдингер поправляла волосы. У дверей стояла группа из четырех студенток, к которым и присоединилась мисс Гейдингер, стараясь держать книжку в коричневой обложке, по возможности, не на виду. Три из этих студенток уже два года были ее однокурсницами и, здороваясь с нею, называли ее по имени. Увидя ее в обществе Льюишэма, они переглянулись между собою.

Мрачного вида молодой лаборант, казавшийся старше своих лет из-за угрюмого выражения лица, — моментально просветлел, при виде Льюишэма.

— Наконец-то, явился хоть один приличный студент! — заметил он и, увидя молодого человека, вошедшего вслед за Льюишемом, снова просветлел: — Ага, вот и Смизерс!

В ГАЛЛЕРЕЕ СТАРОГО ЖЕЛЕЗА

Если идти в Южно-Кенсингтонский Художественный музей из Бромптон-Род, Галерея Старого Железа будет наверху, по правую руку. Но дорога туда очень путаная и доступна не всякому, так как молодые люди, занимающиеся наукой и искусством, не охотно допускают туда посторонних. Галерея эта узкая и темная, уставлена железными дверьми, окованными железом сундуками, замками, болтами и брусьями, фантастическими огромными ключами, лампадами и всякими такими вещами. Перегнувшись через баллюстраду, вы можете беседовать о высоких материях, любуясь рогатым Моисеем и Трояновой колонной (из гипса), гигантской, подымающейся высоко над уровнем галлерей — из нижнего зала — вплоть до самого купола. Здесь-то, в среду после обеда, находились Льюишэм и мисс Гейдингер; это была среда, а накануне — Льюишэм читал свой реферат о социализме, объявленный в программе литературного кружка.

Реферат, строго логичный, полный веских доводов и прочитанный с сдержанным волнением, имел огромный успех. Самый опасный соперник, Смизерс, был побежден, если не в теории, то на практике. Резюме лектора после прений было методическое и полное, и у лектора замечалось некоторое лихорадочное возбуждение. Выражаясь вульгарно, у него закружилась голова от успеха. Льюишэм смотрел на Моисея и говорил о своем будущем. Мисс Гейдингер почти все время ни спускала глаз с Льюишэма.

— Что же дальше? — говорила мисс Гейдингер.

— Надо развивать эти взгляды, широко пропагандировать их в публике. Я еще верю в памфлеты. Я думал... — Льюишэм остановился — надо надеяться, из скромности.

— Да?

— Видите, я думал — о Лютере. Мне кажется, и в социализме нашлось бы место для Лютера.

— Да, — сказала мисс Гейдингер, конкретно представляя себе его мысль. — Да, это было бы великое дело.

Так казалось многим в те дни. Но вот уже больше семи лет, как великие реформаторы ходят вокруг социального Иерихона,

воскликая громким голосом и трубя в свои трубы — но результаты, помимо случайных взрывов внутрипартийной вражды, так ничтожны, что вернуться к радужным надеждам тех дней очень трудно.

— Да, — повторила мисс Гейдингер, — это было бы великое дело.

Льюишэм оценил по достоинству волнение, звучавшее в ее голосе. Он обернулся к ней и прочел в ее глазах нескрываемое восхищение.

— Это было бы действительно великое дело, — сказал он и прибавил скромно: — если бы только нашелся человек, способный сделать это.

— Вы можете это сделать.

— Вы думаете? — Льюишэм весь вспыхнул от удовольствия.

— Думаю. И уж, несомненно, вы можете начать. В таком деле даже неудача, падение — подвиг. Иногда... — Она колебалась. Льюишэм весь превратился в ожидание: — Мне кажется, что иногда в борьбе — большая заслуга, чем в победе.

— Не думаю, — сказал будущий Лютер, — и снова перевел свой взгляд на Моисея. Девушка хотела что-то сказать, но передумала. Наступила пауза.

— А затем, когда ваши взгляды станут известны широкой публике, что тогда?

— Тогда, я полагаю, мы должны образовать партию и... добиться своего.

Другая пауза, без сомнения, полная возвышенных мыслей.

— Слушайте, — вдруг заговорил Льюишэм. — Вы удивительно умеете — как бы это сказать — ну, подбодрить человека. Я бы не написал этого реферата о социализме, если б не вы. — Он повернулся и, прислонившись к баллюстраде, спиной к Моисею, улыбался мисс Гейдингер. — Вы умеете помочь.

Это была одна из самых ярких минут в жизни мисс Гейдингер.

— В самом деле? — сказала она, вся выпрямившись и глядя ему в лицо. — Я рада.

— Я еще не поблагодарил вас за ваши письма, — сказал Льюишэм. — Я думал...

— Что?

— Мы ведь настоящие друзья, не правда ли? Самые лучшие друзья, какие только могут быть?

Она протянула ему руку и, вздохнув, сказала:

— Да.

Он взял эту руку, не зная, удержать ли ее в своих. Он заглянул ей в глаза, и в эту минуту три четверти тех лет, которые ей еще оставалось прожить, она отдала бы только за то, чтобы иметь

глаза и черты лица, способные выразить ее чувства. Вместо того она сознавала, что лицо ее сурово, уголки рта нервно подергиваются, и думала, что наверное глаза ее, по обыкновению, смотрят неприлично-надменно.

— Я, собственно, хотел сказать, что это и всегда так будет. Мы всегда будем друзьями, будем рядом идти вперед.

— Всегда. Раз я в состоянии помочь вам, я буду вам помогать — насколько могу — в чем только могу.

— Мы оба будем помогать друг другу, — произнес он, сжимая ее руку.

Лицо ее просияло. Глаза у нее на миг стали даже красивы от искреннего волнения. — Мы оба... — повторила она, и губы ее задрожали, а горло сдавила спазма. Она вдруг вырвала свою руку и отвернулась, потом быстро отошла на другой конец галереи, и Льюишэм видел, как она искала в складках своего платья носовой платок.

Она готова была заплакать!

Льюишэм был крайне удивлен тем, что она так взволновалась — как будто по пустячному случаю.

Он подошел и стал рядом с ней. О чем же плакать? Он надеялся, что платок будет положен обратно раньше, чем кто-нибудь войдет в галерею. Тем не менее ему смутно льстило это волнение. Она овладела собой, вытерла слезы и храбро улыбнулась Льюишэму, но глаза у нее все еще были красные.

— Простите, — сказала она и захлебнулась, потом объяснила: — я так рада! Мы будем бороться вместе. Вдвоем! Я могу помочь вам. Я знаю, что могу. А на свете столько дела — и такого хорошего дела!

— Вы очень добры, что хотите помочь мне, — сказал Льюишэм; это была одна из тех фраз, которые он намеревался сказать раньше, чем открыл, что имеет власть над ее чувствами.

— Полноте!

— Приходило ли вам когда-нибудь в голову, — спросила она вдруг, — как мало может сделать женщина, когда она одна на свете?

— И мужчина тоже, — ответил он, подумав минутку.

Таким образом, Льюишэм завербовал первую союзницу — первую адептку дела красного галстука и величия, ожидавшего в будущем Льюишэма, — первую союзницу и поверенную, ибо до сих пор, если не считать нескромных надписей на стене, он ни с кем не делился своими честолюбивыми замыслами. Даже в эпоху своего уортлейского романа, теперь полузабытого, Льюишэм, несмотря на интимность, установившуюся между ним и Этелью, ни слова не сказал ей о карьере.

Мисс Гейдингер ни за что не хотела отречься от своей веры в духов умерших, и это послужило поводом к оживленному спору за чаем, в лаборатории. Студентки, в этом году составлявшие большинство, организовали чаепитие между четырьмя и пятью часами и, от времени до времени, приглашали студентов. Но из гостей могло принимать реальное участие в чаепитии не более двух за раз: запасных чашек имелось всего две — с тех пор, как этот негодный Симмонс разбил третью.

Смизерс, студент с квадратной головой и жесткими серыми глазами, оспаривал существование духов прямо-таки с ожесточением, тогда как Блэзерлей, щеголявший оранжевым галстуком и копной нестриженных плоских волос, видимо, сомневался и не имел определенного мнения.

— Что такое любовь? — вопрошал Блэзерлей. — Уж она-то во всяком случае бессмертна!

Его замечание признано было не относящимся к делу и неуместным.

Льюишэм, как и подобает студенту, наиболее выделившемуся на своем курсе и подающему блестящие надежды, оценивал доводы противников и, от времени до времени, вставлял свое слово, веское и энергичное. Медиумические сеансы он решительно отвергал, называя их шарлатанством.

— Чуть и обман — ничего более! — громогласно заявил Смизерс и покосился через плечо, чтобы узнать, достигло ли цели его крылатое слово. Вызов этот был брошен маленькому седенькому старичку; старичок этот — у него было очень миниатюрное лицо и огромные серые глаза — стоял поодаль, у окна, не принимая участия в разговоре.

Старичок носил коричневую бархатную жакетку и слыл страшным богачом. Его звали Легюн. Он был не студентом, а вольнослушателем, — из тех, которых допускают к занятиям в лаборатории, когда комплект студентов неполон и есть свободное место. О нем было известно, что он ярый поборник веры в духов. Говорили даже, что он вызвал Гэксли на публичный диспут о материа-

лизме. Он не пропускал ни одной лекции по биологии и работал очень усердно — для того, как он объяснял, чтобы бороться с неверием оружием того же самого неверия.

При словах Смизерса старичок встрепенулся, как боевой конь при звуке трубы.

— А я говорю: нет! — откликнулся он с другого конца лаборатории и тотчас же подошел. Говоря, он чуть-чуть заикался. — Извините, что я прерываю вас, сэр. Вопрос этот глубоко меня интересует. Надеюсь, я не помешал? Извините меня, сэр. Переведем вопрос на личную почву. Что я такое — дурак или обманщик?

— Ну, — отрезал Смизерс с истинно студенческой бесцеремонностью, — это уж действительно личная почва!

— Допустим, сэр, что я просто добросовестный наблюдатель...

— Ну?

— Я видел духов, слышал духов, чувствовал прикосновение духов.

Он широко раскрыл свои светлые глаза.

— Значит, дурак, — заключил Смизерс вполголоса так, что слова его не достигли слуха спирита.

— Вы могли быть обмануты, — перефразировал Льюишэм замечание Смизерса.

— Смею вас уверить, сэр... и другие могут видеть, слышать, чувствовать. Я проверил свои ощущения, сэр, заметьте! У меня есть некоторая научная подготовка, и я производил опыты с целью проверки — научные, всесторонние опыты! На все лады, не упуская ни одного способа проверки. Я вас спрашиваю, сэр, — давали ли вы когда-нибудь духам возможность убедить вас?

— Это платить бешеные деньги плутам? Слуга покорный!

— Ну вот видите! Предубеждение — ничего больше! Человек отрицает факты и не хочет их видеть, не хочет подойти близко.

— Но ведь не станете же вы требовать, чтобы каждый из жителей трех королевств, не верующий в духов, побывал на нескольких сеансах, прежде чем вы позволите ему отрицать?

— Конечно, стану! Обязательно, стану! Кто не видал, тот и не знает.

Спор разгорался. Старичок скоро закусил удила. Ему известна одна личность — необычайных дарований — медиум.

— Платный? — осведомился Смизерс...

— Не завязывайте рта волу молотящему...

Смизерс смеялся и не скрывал этого.

— Ведь вы не станете сомневаться в правильности весов оттого только, что они покупные? Придите и увидите.

Легюн пришел в сильное возбуждение; он жестикулировал и поминутно возвышал голос. Под конец он таки не выдержал и

пригласил всех работавших в лаборатории к себе, на ряд специальных опытов. — Не все сразу, конечно, — духи — новые влияния... Понемножку. Предупреждаю: может и ничего не выйти. Но это, по крайней мере, шанс... Я буду бесконечно рад...

Таким образом вышло, что Льюишэм согласился присутствовать на спиритическом сеансе. Условились, что и мисс Гейдингер там будет, а затем скептик Смизерс, Легюн, его секретарь — барышня, пишущая на машинке, и медиум. Впоследствии предполагалось устроить второй сеанс уже с другими участниками. Льюишэм был рад, что нашел нравственную поддержку в Смизерсе.

— Это потерянный вечер, — говорил Смизерс, — но ничего, зато я докажу, что прав. Вот увидите, докажу.

Спирит дал им свой адрес; он жил в Челси и разыскать его удалось не сразу. Дом, где он жил, имел вид такого кроткого достоинства, что м-р Льюишэм почувствовал себя пристыженным за свое недоверие. Он сам повесил свою шляпу в большой роскошной передней, рядом с чьей-то соломенной дамской шляпой. В открытую дверь виднелся богато убранный кабинет, полки с книгами и на них белые бюсты, огромный письменный стол, освещенный электрической лампой с зеленым абажуром и весь заваленный бумагами. Служанка, как показалось Льюишэму, посмотрела с бесконечным презрением на его порыжелый траур и ярко пунцовый галстук и, устремившись вперед, повела его по лестнице.

Она постучалась у двери, из-за которой доносились спорящие голоса.

— Они, кажется, уж занялись, — конфиденциально сообщила она Льюишэму. — Мистер Легюн всегда этим занят.

Послышался стук передвигаемых стульев, звучный голос Смизерса и нервный смех. Легюн сам отворил дверь. Его серое лицо казалось еще меньше, а огромные глаза еще больше обыкновенного.

— Мы уже хотели начинать без вас, — шепнул он.

Комната, куда вошел Льюишэм, была меблирована красивее даже, чем гостиная в Уортлейской школе — а эта гостиная, не считая апартаментов в Виндзорском дворце, была самая роскошная комната, какую знал Льюишэм. Особенно поразила его мебель, похожая, как ему показалось, на ту, какую он видел в Южно-Кенсингтонском музее. В первый раз Льюишэм обратил внимание на то, что и стулья бывают различного ранга и общественного положения. Здесь они были так спокойно-величественны, что казалось даже дерзостью садиться на них. Когда вошел Льюишэм, Смизерс стоял, с видом застенчивой враждебности, прислонившись к шкапу. Он не сразу расслышал, что Легюн приглашает их всех садиться. За столом уже сидел медиум Чзффери, благодушного вида господин, в довольно поношенном

костюме; у медиума были кустистые железно-серые бакенбарды, большой рот с тонкими губами, изогнутыми кверху по углам, и подбородок, похожий на носок сапога. Медиум бросил Льюишэму критический, уничтожающий взгляд сквозь позолоченные очки. Мисс Гейдингер чувствовала себя совершенно свободно и тотчас же вступила в разговор с Льюишэмом, но ответы Льюишэма звучали уже не так самоуверенно, как в Галлерее Старого Железа. Тут они как будто поменялись ролями. Мисс Гейдингер вела, а Льюишэм смиренно следовал за нею, смутно чувствуя, что она забрала над ним верх. По правую руку от мисс Гейдингер — Льюишэм заметил другую женскую фигуру в темном платье.

Все перешли к круглому столу посредине комнаты; на столе лежал тамбурин и маленький зеленый ящичек. Указывая места гостям, Легион обнаружил такую длину узловатых кистей рук и пальцев, какой с первого взгляда заподозрить в нем было нельзя. Льюишэма он посадил возле себя, — между собою и медиумом; за медиумом сидел Смизерс, по правую руку его мисс Гейдингер; затем переписчица, являвшаяся соединительным последним звеном в этой цепи. Таким образом, медиум со всех сторон был окружен скептиками. Компания уже уселась, когда Льюишэм посмотрел на Легиона и встретился глазами с девушкой, сидевшей возле него. Это была Этель. В простеньком зеленом платье, без шляпки, несколько побледневшая, она показалась Льюишэму какой-то чужой, но, тем не менее, он узнал ее с первого взгляда. И по глазам ее было видно, что и она узнала Льюишэма.

Встретив его взгляд, Этель тотчас же отвернулась. В первый момент Льюишэм почувствовал только удивление. Он хотел заговорить с ней, но безделица помешала ему: он не сразу припомнил ее фамилию. Кроме того, непривычность обстановки делала его нерешительным. Он не знал, как обратиться к ней, а между тем он, как и прежде, чувствовал суеверный страх пред этикетом. При том же, если заговорить с нею, все будут удивлены, придется всем объяснять...

— Убавьте, пожалуйста, газ, мистер Смизерс, — сказал Легион, и тотчас же Смизерс завернул кран в единственном, светившем еще рожке, и все очутились в темноте. Благоприятный момент был пропущен.

Началась тщательная проверка, правильно ли составлена цепь — они прикасались мизинцем к мизинцу. Рассеянность Льюишэма навлекла на него порицание со стороны Смизерса. Медиум вкрадчивым голосом предупредил, что он не может ничего обещать, ибо не в его власти «руководить» проявлениями духов. Затем наступило молчание...

В течение нескольких минут Льюишэм не мог с достаточным вниманием следить за происходившим вокруг.

Во тьме, среди этой живой тишины, он пристально глядел на смутно рисовавшуюся перед ним женскую фигуру, которая так неожиданно оказалась хорошо знакомой ему Этелью. Он испытывал удивление, смешанное с досадой. Он уже решил, что эта девушка потеряна для него навсегда. Очарование былых дней, когда он жаждал видеть ее, когда он, в первое время по приезде в Лондон, целыми вечерами бродил по Клапгэму, с слабеющей надеждой где-нибудь встретить ее,—это очарование уже исчезло без следа. Но сейчас Льюишэму было стыдно глупого молчания, и неловкость положения раздражала его. Одну минуту он готов был нарушить уговор и окликнуть ее через стол: «Мисс Гендерсон!».

Как он мог забыть эту фамилию: «Гендерсон?». Он был еще так молод, что удивлялся своей забывчивости.

Смизерс кашлянул, как бы призывая к вниманию.

Льюишэм, припомнив, что они собрались сюда с целью открыть обман, если он есть, и изобличить обманщика, огляделся вокруг, но в комнате было очень темно. Молчание нарушалось по временам глубокими вздохами и беспокойными движениями медиума; он все время ёрзал на стуле. Когда Льюишэм оправился от смущения, в нем заговорило, прежде всего, тщеславие. Что она сейчас думает о нем? Смотрит ли она на него в темноте, как он смотрит на нее? Как ему поступить, когда зажгут свет? Представиться, что он только сейчас увидал ее? Минуты шли за минутами, и ему казалось, что тишина становится все глубже. Камин не топили и оттого, что не видно было огня, казалось холодно. В душе Льюишэма зародилось странное сомнение: он не знал, действительно ли видел Этель, или только принял за нее кого-нибудь другого. Ему хотелось, чтобы сеанс поскорее кончился, и он мог бы опять взглянуть на нее. Прежние дни в Уортлее встали в его памяти с необыкновенною отчетливостью, но в то же время, — удивительное дело! — он не испытывал никакого волнения...

Он испытал странное ощущение — словно дрожь проползла у него по спине, но он попытался объяснить это сквозняком...

Внезапно струя холодного воздуха как будто коснулась его лица, и он весь задрожал. Он надеялся, что Этель этого не заметила. Ему пришла мысль тихонько засмеяться, чтобы показать, что он несколько не испугался. Возле Льюишэма — тоже кто-то вздрогнул, Льюишэм почувствовал необычайно сильный запах фиалок. Мизинец Легона, сидевшего рядом в цепи, вздрагивал.

Что такое происходит?

Музыкальный ящик где-то на столе заиграл довольно тривиальную, жалобную мелодию, незнакомую Льюишэму. Ему казалось, что молчание вокруг становится все напряженнее, что эта тишина полна ожидания, что тонкая нить звенящей мелодии перекидывает мост через бездну.

Усилием воли Льюишэм вернул себе самообладание. Что такое происходит? — должен же он дознаться. Достаточно ли он бдителен? Так ли он внимательно следит, как это необходимо? Он замечтался и, может быть, прозевал что-нибудь. Духи не существуют, медиумы обманщики, и его обязанность доказать эту единственную несомненную истину. Но для этого надо быть на стороже, а он зевает. Откуда этот запах фиалок? И кто завел музыкальный ящик? Конечно медиум — но каким образом? Он старался припомнить — не слышал ли он шума, не заметил ли какого-нибудь движения перед тем, как началась музыка, — и не мог припомнить. Нет, надо быть гораздо внимательнее.

Льюишэм горячо желал, чтобы затея их удалась. Он рисовал себе драматический момент, когда он и Смизерс изобличат обманщика, — на глазах Этели, — и впивался взором в темноту.

Кто-то опять вздрогнул — на этот раз кто-то, сидевший напротив него. Он чувствовал, что палец Легиона дрожит еще пуще прежнего. Затем вдруг начались стуки повсюду, вокруг. Тук! — это заставило Льюишэма вздрогнуть. Звук был короткий, отрывистый: тап, тап, тап... — под столом, под стулом, в воздухе, по карнизам. Медиум опять стонал и дрожал, и его нервное волнение передавалось всем в цепи. Музыка совсем, было, затихла, потом опять заиграла громче. Как он это делает?

Льюишэм услышал голос Легиона, сидевшего возле. Он с какой-то благоговейной почтительностью вопрошал:

— Азбука? Можно ли... можем ли мы пользоваться азбукой? Под столом послышался один сильный удар.

— Нет! — истолковал медиум.

Стуки в разных местах продолжались.

Разумеется, это было надувательством. Льюишэм пытался сообразить, как это можно было устроить. Он поверял, действительно ли мизинец медиума прикасается к его мизинцу. Он вглядывался в темную человеческую фигуру, сидевшую рядом... Позади, в углу комнаты, далеко от стола, слышался сильный стук, резкие удары с почти металлическим резонансом. Затем стуки прекратились, и в успокоительной тишине звучала только тоненькая струйка мелодии. Немного погодя и музыка прекратилась. Наступила глубокая тишина. Нервы мистера Льюишэма были натянуты, как струны. На него вдруг нахлынули сомнения; им овладело подавляющее предчувствие, сознание, что сейчас что-то случится. Тьма кругом — давила прямо как-то физически...

Он вздрогнул. На столе что-то зашевелилось. Раздался резкий, звенящий, металлический звук, потом ряд легких потрескиваний, — словно разглаживали бумагу; будто ветер пронесся мимо, хотя воздух оставался недвижимым. Чувствовалось, что нечто парит над столом.

Волнение Легюна конвульсивным трепетом передавалось другим; рука медиума дрожала. Во тьме на столе появилось какое-то слабо светящееся, зеленовато-белое пятно, — пятно это медленно двигалось, подпрыгивало среди темных фигур.

Это пятно, или неизвестный предмет, медленно поднялось на воздух, развернулось. Льюишэм с рабским вниманием, не отрываясь, следил за ним. Это было призрачно, непостижимо, чудесно. На минуту он даже забыл об Этели. Светящееся пятно подымалось все выше и выше, и наконец можно было рассмотреть, что это призрачная рука. Она подымалась все выше и выше. Медленно, не спеша, она передвинулась через стол и как будто дотронулась до Легюна. Тот вздрогнул. Рука подвинулась дальше и дотронулась до Льюишэма. Льюишэм закрипел зубами.

Ошибиться было невозможно — это было прикосновение пальцев, твердое и вместе нежное. Почти в то же мгновение, мисс Гейдингер вскрикнула: «Кто-то гладит меня по голове!» — и музыка вдруг заиграла снова. Смутно видневшийся овал тамбурина поднялся кверху, звякнул, и Льюишэм слышал, как тамбурин ударил по лицу Смизерса. Казалось, тамбурин носился над головой. Тотчас же вслед затем, стол, стоявший где-то позади медиума, задвигался и закрипел.

Казалось невозможным, чтобы медиум, сидевший так смирно возле Льюишэма, мог проделывать все эти вещи, — как бы они ни были нелепы и лишены значения. В сущности...

Призрачная рука висела в воздухе, почти прямо перед глазами мистера Льюишэма — висела и слегка вздрагивала. От времени до времени пальцы опускались вниз и затем опять выпрямлялись.

Шум! И — показалось Льюишэму — очень громкий шум. Что-то движется по комнате? Что ему делать?

Льюишэм вдруг почувствовал, что мизинец медиума не касается больше к его мизинцу, но пытался отыскать мизинец медиума — и не мог; потом поймал чью-то руку, но не успел удержать. Кто-то вскрикнул, раздался как бы слабый звук выстрела. Кто-то пробормотал проклятие и не кончил, на полуслове прикусил себе язык. Ш-ш-ш! — и комната вдруг осветилась.

Льюишэм вскочил — и увидел круг ослепленных внезапным светом лиц: глаза всех были обращены к группе из двух человек, озаренных светом газа. Главным лицом в группе был Смизерс: одной рукой он держал кран газового рожка, другою — схватил за руку медиума; в руке медиума было вещественное доказательство — тамбурин.

70

— Как вам это нравится, Льюишэм? — вскричал Смизерс.

— Попался! — громко сказал Льюишэм, встав и избегая взгляда Этели.

— В чем дело? — воскликнул медиум.

— В надувательстве, — задыхаясь пояснил Смизерс.

— Ничего подобного! — вскричал медиум. — Когда вы зажгли свет — я поднял руку и схватил тамбурин, чтобы прикрыть себе голову...

— Мистер Смизерс! — восклицал Легион. — Мистер Смизерс, это очень нехорошо с вашей стороны!

Тамбурин с шумом упал на пол. Медиум изменился в лице, как-то странно застонал и пошатнулся. Легион крикнул: «Воды!» Все смотрели на медиума, ожидая, что он вот-вот упадет — все, кроме Льюишэма. У того опять мелькнула мысль об Этели. Он обернулся: посмотреть, как она отнеслась к этому разоблачению обмана? Ведь в этом разоблачении — он, Льюишэм, сыграл немалую роль. Этель наклонилась над столом, как бы стараясь взять что-то, лежавшее на столе. Она не смотрела на Льюишэма: она смотрела на медиума. Лицо ее было неподвижно и бледно. Потом она как бы почувствовала на себе взгляд Льюишэма — и глаза их встретились.

Этель отшатнулась, выпрямилась и посмотрела в лицо Льюишэму со странной суровостью.

В первый момент Льюишэм не сообразил, в чем дело. Ему только хотелось показать, что он не меньше Смизерса содействовал раскрытию обмана. Движение Этели — в первый момент просто заставило Льюишэма взглянуть на тот предмет, к которому она тянулась. Что-то сморщенное, перепончатое... на столе лежала пневматическая перчатка! Это был, очевидно, один из приборов, применявшихся медиумом. Льюишэм кинулся, как коршун, и схватил перчатку.

— Смотрите, — сказал он, протягивая ее Смизерсу. — Вот еще. Что же это такое?

Льюишэм заметил, что девушка вздрогнула. Он видел, как Чэффери, медиум, оглянулся через плечо Смизерса и бросил девушке быстрый, укоризненный взгляд. Льюишэм вдруг понял: она сообщница медиума. А он стоит в торжествующей позе, с доказательством ее виновности в руке! Его торжество мгновенно исчезло.

— А! — вскричал Смизерс, перегибаясь через стол, чтобы взять перчатку. — Добрый, старый дружище, Льюишэм. Теперь он у нас в руках! Это будет лучше тамбурина.

В глазах Смизерса светилось торжество.

— Видите, м-р Легион? Медиум держал это в зубах и надувал. Этого отрицать нельзя. Это, небось, не могло свалиться вам на голову, господин медиум? Это — это и была светящаяся рука!

XII

ЛЬЮИШЭМ СТАНОВИТСЯ НЕВМЕНЯЕМ

В этот вечер, идя вместе с Льюишэмом, мисс Гейдингер подметила в нем необычайную угрюмость. Сцена, в которой все они вместе принимали участие, произвела на нее сильное впечатление; одно время она верила в проявления сверхчувственного; разоблачение обмана перевернуло весь строй ее мыслей. Подробности кризиса несколько спутались в ее уме. Она считала Льюишэма таким же виновником торжества науки, как и самого Смизерса. В общем, она даже гордилась этим торжеством. Она ничего не имела против того, чтобы быть побежденной Льюишэмом. Но на медиума она была сердита.

— Это ужасно, — говорила она. — Жить обманом! Как может свет сделаться лучше, когда сильные и образованные люди пользуются своей силой и своим образованием, чтобы помрачить рассудок других? Это ужасно!

— Он такой неприятный человек... такой масляный, вкрадчивый голос... А девушка! Мне было жаль ее, когда она вдруг рыдалась. Ей, должно быть, было мучительно стыдно — иначе, о чем бы ей плакать? Мне было очень неприятно. Так плакать при посторонних! Это надо потерять всякую власть над собою. Ну, да что поделаешь?

Она умолкла. Льюишэм шагал, глядя прямо и мрачно, ведя с самим собой какой-то спор.

— Это напоминает мне Слэджа, медиума, — сказала мисс Гейдингер.

Льюишэм не ответил.

Она взглянула на него.

— Вы читали Слэджа, медиума?

— А? Что такое? Извините, пожалуйста. Слэдж? Медиум? Я думал, что его зовут... ну, да, его зовут Чэффери.

Льюишэм смотрел на нее, видимо, очень интересуясь этой фактической подробностью.

— Я говорю о Слэдже, герое поэмы Броунинга. Вы знаете эту поэму?

— Нет, боюсь, что не знаю.

— Надо будет дать вам прочесть. Это великолепно. Там вопрос этот трактуется очень глубоко.

— В самом деле?

— Мне никогда раньше это не приходило в голову, но теперь я вижу ясно. Когда людям, бедным людям, предлагают деньги за то, чтобы производить спиритические явления — естественно, что такие люди соблазняются. Им поневоле приходится обманывать. Это подкуп! Это безнравственно.

Она говорила коротенькими фразами, слегка задыхаясь, потому что Льюишэм шел вперед быстрыми шагами, не обращая на нее никакого внимания.

— Интересно знать, — сколько бы такие люди могли заработать честным трудом?

Льюишэм не сразу сообразил, что вопрос обращен к нему. Он с трудом отрешился от своих мыслей.

— Сколько бы они могли заработать честным трудом? Не имею понятия. Он помолчал. — В общем, это все-таки интересует меня. Надо подумать.

— Это страшно сложно, неправда ли? — сказала мисс Гейдингер несколько нерешительно.

Остальную часть дороги до станции они прошли молча. Простились, обменявшись рукопожатием — на этот раз несколько небрежным со стороны Льюишэма. Когда тронулся поезд, мисс Гейдингер пытливо вглядывалась в лицо Льюишэму, стараясь объяснить себе его настроение. Он глядел, как будто видя пред собой что-то невидимое другим, словно уже позабыв о существовании мисс Гейдингер. Ему надо подумать. Но ведь в таких случаях ум хорошо, а два лучше. Мисс Гейдингер смушалось, что она так мало знает Льюишэма, так плохо разбирается в его душевных состояниях. — «Как мы все кутаемся и прячемся друг от друга — закрываем свою душу!»... — думала она, глядя в окно на смутные очертания силуэтов, мелькавших перед ней.

Внезапно ею овладело глубокое уныние. Она почувствовала себя одинокой, абсолютно одинокой — в этом огромном мире.

Но она заставила себя отвлечься от этих мыслей. В соседнем отделении вагона два господина смотрели на нее и как будто критиковали ее наружность. Она встrepенулась и привычным движением пригладила себе волосы.

ЛЬЮИЩЕМ НАСТАИВАЕТ

Этель Гендерсон сидела за машинкой у окна, в кабинете м-ра Легиона, и рассеянно смотрела в серо-синий сумрак ноябрьского дня. Лице у нее было совсем белое, а веки красны от недавно пролитых слез; руки неподвижно лежали на коленях. Дверь только что захлопнулась за Легионом.

— Господи, — сказала она, — хоть бы умереть! Хоть бы скорее все это кончилось!

Затем она снова стала пассивной. — «Удивляюсь, что я такого сделала? За что я так наказана?»

Она, несомненно, не имела вида человеческого существа, преследуемого роком. Наоборот, это была очень хорошенькая девушка. Голова у нее была красивой формы, с вьющимися темными волосами; брови над глазами газели были тоже темные и красиво очерченные. Губы — изящной формы; рот — не настолько маленький, чтобы не быть выразительным; небольшой подбородок; белая, полная, красивая шея. Нет надобности распространяться относительно ее носа: он был приличен — этого достаточно. Она была среднего роста; скорее крепкого, чем слабого сложения; на ней было платье из золотисто-коричневой материи, с свободными рукавами, грациозного покроя той эстетической эпохи. И вот — она сидела за своей машинкой, и выражала желание умереть, и спрашивала себя: в чем же она согрешила?

Вдоль стен тянулись книжные полки, на которых особенно выставлялись на вид ряды глупо-претенциозных томов «творений» Легиона: это было неумное, вычурное подражание философии, наполнявшее всю его жизнь. На верхних полках были бюсты Платона, Сократа и Ньютона. Позади была контора великого человека; на столе стояла затененная зеленым абажуром электрическая лампочка; везде валялись корректуры и оттиски «Геспера» — «газеты для сомневающихся», которую Легион, с помощью Этели, издавал, печатал, компилировал, составлял — и (уже без помощи Этели) расплачивался за издание, и читал. С силой брошенное на конторку перо воткнулось в пропускную бумагу и до сих пор еще вздрагивало. Перо было брошено м-ром Легионом.

Он был страшно расстроен вчерашним скандалом и поминутно прерывал диктовку страстными монологами. Это не что иное, как полный крах, гибель всей его жизни! Уж наверное она знала, что Чэффери обманщик. Неужели она не знала? — Молчание... А он-то, Легюн, был так добр к ней!

Она прервала Легюна:

— Ах, знаю я, знаю!

Но Легюн продолжал беспощадно настаивать, что Этель обманула его, — хуже, сделала его смешным. Что будет теперь с его начатым сочинением? Как он может продолжать теперь, после того, что было? Как у него хватит духу работать, когда его собственная переписчица приносит его в жертву мошенническим проделкам своего вотчима? «Мошенническим!» При этом Легюн все время не переставал жестикулировать; серые глаза его сверкали негодованием, тонкий голос звучал визгливо.

— Не обмани он, — вас обманул бы кто-нибудь другой, — пробормотала себе под нос Этель. Но исследователь «явлений» не слышал ее.

Это было, может быть, не так худо, как получить чистую отставку, но зато гораздо томительнее. А дома — Этель ждал ее вотчим, Чэффери, злобно трунивший над ее неумением припрятать во время пневматическую перчатку. Он не имел права порицать ее — никакого, но в гневе и огорчении человек легко отступает от требований справедливости. По словам Чэффери, проделку с тамбурином объяснить было очень легко, — тем, что он поднял руку, чтобы защитить свою голову, когда Смизерс открыл газовый рожок. Но присутствие пневматической перчатки — объяснить было невозможно. Он дал Этели возможность спрятать перчатку, притворившись, что падает в обморок. Нелепо было утверждать, что кто-нибудь мог ей смотреть в эту минуту на руки, — прямо нелепо!

Рядом с многозначительным обломком пера на столе м-ра Легюна стояли небольшие часы в футляре; часы внезапно подали голос и пробили пять. Девушка повернулась на стуле и устояла на часах, усмехаясь опущенными углами рта. Теперь домой — и опять сначала. Все равно, как в игре в волан...

— «Нет, я была глупа... Это, пожалуй, правда, что я сама во всем виновата. Мне следовало спрятать перчатку. Времени было достаточно... Обман? Конечно обман! Вот уж не думала, что мы когда-нибудь с ним встретимся... Ему стало стыдно — само собой... Он был с своими друзьями»...

Несколько времени Этель сидела молча, бесцельно глядя перед собою в пространство, потом вздохнула, протерла глаз, чтобы вынуть соринку, и встала.

Она пошла в переднюю, где висели ее жакет и шляпа, прикрепленная двумя булавками к стене, оделась, вышла на улицу.

Не успела она отойти и двадцати шагов от дома Льюиса, как заметила, что ее нагнал какой-то мужчина и идет с ней рядом. Девушкам, которые возвращаются с дневных занятий одни, такие вещи не в диковину: Этель, живя в Лондоне со времени своих приключений в Уортлее, научилась многому. Она шла, глядя прямо перед собою и не оборачиваясь. Но мужчина заступил ей дорогу, так что ей поневоле пришлось остановиться. Она подняла глаза с негодовующим протестом. Перед нею был Льюис, бледный от волнения.

Он нерешительно и молча протянул руку. Этель машинально взяла эту руку. Тогда к Льюису вернулась способность говорить.

— Мисс Гендерсон, — начал он.

— Что вам угодно? — спросила она слабо.

— Не знаю... Мне нужно поговорить с вами.

— Да? — Сердце у нее сильно забилося.

Он не ожидал, что ему будет так трудно начать.

— Вы позволите? Вы, может быть, думаете... Вам далеко идти? Мне бы хотелось поговорить с вами. Так много надо сказать...

— Я иду в Клапгэм. Если хотите проводите меня немного.

Она неловко подвинулась, Льюис стал возле нее и они пошли рядом. Оба были смущены, обоим было не по себе. Столько надо было сказать друг другу, а слов не находилось.

— Вы забыли Уортлей? — спросил он вдруг.

— Нет.

Он взглянул на нее: ее глаза были опущены.

— Почему вы не писали? — спросил он с горечью.

— Я писала.

— Я хочу сказать: второй раз.

— Я писала в июле.

— Я не получал письма.

— Оно было мне возвращено.

— Но мистрисс Мундэй?..

— Я забыла ее фамилию. Я адресовала письмо в школу.

Льюис подавил гневное восклицание.

— Очень жаль! — сказал он. Несколько времени они шли молча. — Вчера вечером, — начал Льюис... — Не мое дело, конечно, вмешиваться, но...

Этель тяжело перевела дух.

— Мистер Льюис, человек, которого мы видели... медиум... — это мой вотчим.

— Ну, так что же?

— Разве этого не достаточно?

Льюишэм помедлил.

— Нет.

Снова принужденное молчание.

— Нет! — повторил Льюишэм уже увереннее... — Мне совершенно все равно, что такое ваш вотчим. Вопрос в том, принимали ли вы участие в обмане?

Лицо у Этели побелело. Рот то открывался, то закрывался.

— Мистер Льюишэм, вы, может быть, не поверите, это может показаться вам невозможным, но, честное слово... Я не знала, я не знала наверное — что это... что мой вотчим...

— А! — воскликнул Льюишэм, моментально выводив заключение. — Так я был прав...

С минуту она пристально смотрела на Льюишэма и вдруг залилась слезами.

— Я знала, но как я могла сказать вам? Это ложь. Я знала, я все время знала...

Льюишэм уставился на нее в немом изумлении, даже отстал от нее на шаг, потом опять пошел рядом. Наступило молчание, которому, казалось, не будет конца. Этель перестала плакать и вся превратилась в ожидание, не смея взглянуть в лицо Льюишэму.

Наконец он заговорил.

— Нет, — сказал он тихо. — Я даже и на это не сержусь. Мне все равно... Даже если так.

В эту минуту они вышли на Кингс-Роод, шумную, людную, с массой экипажей и толпой пешеходов. Набежавшая ватага мальчишек на миг разлучила их. На такой людной улице вечером поневоле приходится перебрасываться отрывистыми, бессвязными фразами, или же не разговаривать вовсе. Льюишэм взглянул на Этель и увидел по ее лицу, что она успокоилась. Затем она свернула в улицу, где было темно и на окнах домов были спущены шторы. Здесь можно было продолжать разговор.

— Я понимаю, что вы хотели сказать, — начал Льюишэм. — Я уверен, что я понял вас правильно. Вы знали, но не хотели знать.

Но она опять заволновалась.

— В конце этой улицы, — сказала она, — нам надо будет проститься. Вы очень добры, что пришли, м-р Льюишэм. Но вам было стыдно, — вы сами знаете, что вам было стыдно. Мой патрон — спирт, мой вотчим — профессиональный медиум, моя мать — также спиритка. Вы были совершенно правы, не заговорив со мной, тогда, вечером. Совершенно. Это хорошо с вашей стороны, что вы пришли, но вы должны вернуться. Жизнь и без того довольно тяжела. Вам надо будет вернуться, как только мы дойдем до конца этой улицы. Вот дойдем до конца и простимся.

Льюишэм не отвечал целую вечность.

— Я пойду с вами в Клапгэм, — сказал он.

Они молча дошли до конца улицы. Здесь Этель остановилась, повернулась и посмотрела ему прямо в лицо.

— Идите домой, — шепнула она.

— Нет, — упрямо ответил он, и они продолжали стоять лицом к лицу: это был поворотный момент в жизни их обоих.

— Выслушайте меня, — сказал Льюишэм. — Мне трудно сказать, что я чувствую. Я сам не знаю... Но я не согласен лишиться вас таким образом. Я не дам вам ускользнуть вторично. Я из-за этого всю ночь не спал. Мне все равно, где вы живете, кто ваши родные; мне почти все равно, в какой степени вы принимали участие в проделках вашего медиума. Мне все равно! Больше вы этого делать не будете, — это вы уж там как хотите. Я весь день и всю ночь думал об этом, а потом пошел разыскивать вас. И нашел. Я не забыл вас. И никогда не забывал. Вы меня гоните, но я не согласен уходить.

— Это не может быть полезным ни для кого из нас, — возразила она так же решительно, как и он.

— Я не оставляю вас.

— Но к чему? Что из всего этого может выйти хорошего?..

— Я иду с вами, — объявил Льюишэм.

И он пошел.

Он поставил ей вопрос ребром, но она не ответила. Некоторое время они шли в угрюмом молчании. Наконец Этель заговорила дрожащим голосом; уголки ее рта нервно подергивались.

— Оставьте меня. Вы совсем другой человек, чем я. Вы почувствовали это вчера вечером. Вы помогли изобличить нас....

— В первое время, после моего приезда в Лондон, я целыми неделями бродил по Клапгэму, в надежде встретить вас.

Они перешли мост и очутились в узкой, маленькой улочке, с убогими лавчонками, неподалеку от Клапгэмской станции. Этель отворачивалась от Льюишэма и лицо ее ничего не выражало.

— Мне грустно, — с церемонной вежливостью начал Льюишэм, — если вы принимаете мое поведение за навязчивость. Я не имею ни малейшего желания вмешиваться в ваши дела, — если вы сами этого не желаете... При виде вас, как-то вдруг столько вспомнилось... Я не умею объяснить этого. Может быть, я потому и пришел. Я все думал о вашем лице, о вашей улыбке, о том, как вы прыгнули с ворот у шлюза... И как мы пили чай... и столько всего...

Он опять остановился.

— Многое вспомнилось... Если вы позволите мне пойти... — начал он немного погодя, и, не получив ответа, пошел. Они мино-

вали несколько больших улиц у станции и пошли дальше по направлению к лугу.

— Я живу в конце этой улицы, — сказала Этель, неожиданно останавливаясь на углу... — Я предпочла бы...

— Но я ничего не сказал...

Этель посмотрела на него, лицо у нее побелело, с минуту она была не в состоянии говорить...

— Это ни к чему хорошему не поведет. Я принимала участие в...

Она запнулась.

— Я приду завтра вечером, — решительно объявил Льюишэм.

— Нет, — сказала она.

— А я все-таки приду.

— Не надо, — шепнула она.

— Я приду.

Она не могла дольше скрывать от себя радости, наполнявшей ее сердце. Она испугалась, когда пришел Льюишэм, но все же и обрадовалась — и знала, что он видел, как она обрадовалась. Больше она не протестовала. Она молча протянула руку.

А на другой день он, как и сказал, ждал ее у под'езда.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МИСТЕРА ЛЕГЮНА

Три дня Легион не показывал носа в лабораторию, затем явился, как ни в чем не бывало, еще более юрким и говорливым, чем прежде. Все ждали, что он вернется отступником, но он не только не отрекся от своей веры, а напротив, укрепился в ней еще более и бесстыдно пропагандировал ее всем и каждому. Он, очевидно, почерпнул новые силы и убежденность, неведомо из какого источника. Вся риторика Смизерса не помогла горю. Из-за недостатка чайных чашек произошел жаркий бой, в котором принимал участие и старообразный молодой лаборант, повидимому, радуясь затруднениям Смизерса. Вначале Смизерс обнаружил большую самоуверенность и говорил изысканно вежливым тоном, но под конец уши его были красны, а хорошие манеры значительно пострадали.

Льюишэм, как заметила мисс Гейдингер, представлял собою во время этого спора, жалкую фигуру. Раза два он как будто пытался сказать что-то Легиону, но каждый раз не договаривал.

Легион отнесся к изобличению обмана очень легко.

— Этот субъект, Чэффери, мне во всем признался. Его точка зрения...

— Факты остаются фактами, — возразил Смизерс.

— Факт есть синтез впечатлений, — сказал Легион, — но это вы узнаете, когда станете постарше. Все дело в недоразумении. Я сказал Чэффери, что вы начинающие. Он и отнесся к вам, как к начинающим — он демонстрировал...

— Да, уж именно демонстрировал! — сказал Смизерс.

— Совершенно верно, демонстрировал явление. И если бы вы не прервали его...

— А!

— Он подстроил самые элементарные эффекты.

— Этого вы не можете отрицать.

— Я и не пытаюсь. Но, как он объяснил мне, — это необходимо и может быть вполне оправдано. Психические явления трудно уловимы. Необходимо несколько тренировать зрителя, приучить его к вниманию. Медиум, — орудие более чувствительное и тонкое, чем, например, весы или шарик из буры, употребляемый для

физических опытов, а между тем, посмотрите, сколько времени пройдет, пока вы добьетесь положительных результатов от опытов с таким шариком. В первоначальной, вступительной фазе условия слишком грубы, чтобы...

— Чтобы медиум мог быть честным?

— Погодите минутку. Разве это бесчестно — искусственно демонстрировать явления?

— Разумеется, да.

— Ваши профессора делают то же самое.

— Я отрицаю это совершенно, *in toto*, — сказал Смизерс и с видимым удовольствием повторил: — *in toto*.

— Вы можете отрицать сколько вам угодно, но я вам приведу факты. Профессора химии — подите вниз и спросите, если не верите мне — всегда подделывают опыт относительно неразрушимости материи... всегда. Да и другой тоже — физиографический. Вы знаете, о каком опыте я говорю? О том, какой проделывают для доказательства вращения земли.

— Для этого употребляют маятник Фуко, — сказал Льюишэм. — Берут гуттаперчевый шарик, а в руке прячут во время опыта булавку — и булавкой дают шарiku нужное направление.

— Но это совсем другое, — перебил Смизерс.

— Погодите минутку, — и Легюн вытащил из кармана сложенный в несколько раз печатный листок. — Вот вам статейка из журнала «Nature», подписанная ни кем иным, как профессором Гринхиллем. И что же? Нечто в роде этой булавки, какой незаметно приводится в движение маятник, введено в аппарат для демонстрации скрытой скорости! Прочтите, если вы сомневаетесь в моих словах. Я полагаю, что вы мне не верите.

Смизерс внезапно покинул свою позицию отрицания *in toto*.

— Я не об этом, — говорил м-р Легюн. — Моя точка зрения иная. Те опыты, которые проделываются на лекциях, служат не для доказательства фактов, но для того, чтобы дать понятие... И моя демонстрация также.

— Нам все это представлялось в ином свете.

— Обыкновенно, студенту, первый год посещающему лекции, опыты тоже представляются не в надлежащем свете. Он тешит себя мыслью, что он все видел собственными глазами.

— Ну, и что же? И пусть! — сказал Смизерс. — Это не доказательство. Подделывать явления все-таки нехорошо.

— В этом я согласен с вами. Я так и заявил Чэффери. Он ведь, знаете, не настоящий профессор, не то, что ваши здешние столпы науки, демонстрирующие разные опыты на лекциях, поэтому с ним можно было об'ясниться начистоту — он не обидится. Он стоит совершенно на той же точке зрения, что и ваши профес-

сора, но я более требователен. Я настоял на том, чтобы этого больше не было...

— В следующий раз, — иронически подсказал Смизерс.

— Следующего раза не будет. Я покончил с элементарными доказательствами. Вы должны принять на веру слова опытного наблюдателя, как вы делаете это, когда речь идет о химическом анализе.

— Вы хотите сказать, что будете продолжать опыты с этим субъектом, несмотря на то, что его поймали с поличным под самым вашим носом?

— Конечно. Почему же нет?

Смизерс начал было объяснять, почему нет, и запутался.

— Я все же полагаю, что у этого человека есть особенные способности, — сказал Лёгюн.

— К надувательству, — закончил Смизерс.

— Это я исключаю. Это все равно, что отказаться изучать электричество потому только, что во время опыта электрический разряд прошел через ваше тело. Всякая новая наука обманчива. Ни один здравомыслящий исследователь не откажется продолжать исследование сложного состава только потому, что получились неожиданные результаты. Или данный состав растворяется в воде, или мне нет до него никакого дела. Так, что ли? Хороши изыскания!

Вот тут-то Смизерс и позабыл о хороших манерах.

— Мне все равно, что бы вы там ни говорили! — вскричал он. — Это все ерунда! Чушь и ерунда! Доказывайте, сколько хотите, — разве вы кого-нибудь убедили? Ну, хотите, пустим на голоса?

— Это демократическая мысль, — проговорил Лёгюн. — Общие выборы истины дважды в год, так?

— Вы просто вывертываетесь, — сказал Смизерс. — Демократия тут решительно не при чем.

Лёгюн, раскрасневшийся, но веселый, уже спускался с лестницы, когда его нагнал Льюишэм. Льюишэм был бледен и тяжело дышал, но лестницы всегда утомляли самого Лёгюна, так что он и не заметил волнения юноши.

— Интересный разговор! — задыхаясь, начал Льюишэм. — Очень интересный разговор, сэр!

— Я рад, что он заинтересовал вас. Очень рад.

Наступила пауза. Затем Льюишэм, с отчаяния, нырнул головой вниз прямо на дно.

— Там была одна молодая особа, ваша переписчица.

Он остановился, у него захватило дыхание.

— Да? — сказал Лёгюн.

— Она тоже медиум, или что-нибудь в этом роде?

Легюн подумал.

— Нет, она, конечно, не медиум, но... почему вы об этом спрашиваете?

— О! Мне хотелось бы знать.

— Вы, вероятно, обратили внимание на ее глаза? Она падчерица этого Чэффери... Он большой чудак, но, бесспорно, одарен медиумической силой. Это не просто, что вы обратили внимание на эту девушку. Тем более, что я сам одно время, судя по ее лицу, предполагал в ней психический дар.

— Что такое?

— Психическую силу, — разумеется, не развитую. Мне раза два приходила в голову эта мысль. Я даже недавно говорил об этом с Чэффери.

— В самом деле?

— Да. Он, конечно, был бы рад развитию всяких скрытых дарований. Но, знаете ли, в таких случаях — начало всегда несколько трудно.

— Вы хотите сказать, что она не желает этого?

— Да, пока. Она хорошая девушка, но для такого дела робка. В начинающих нередко замечается несклонность, какое-то странное отвращение, — можно это, пожалуй, назвать даже скромностью.

— Понимаю, — сказал Льюишэм.

— Потом это обыкновенно удается побороть. Я не отчаиваюсь...

Они были уже на последних ступенях лестницы. Льюишэм колебался.

— Теперь у меня будет о чем подумать, — произнес он с намеренною резкостью и отошел, чтобы расписаться в книге.

— Я рад, что вы, по крайней мере, не так нетерпимы, как м-р Смизерс, — сказал Легюн. — Очень рад. Надо будет вам прочесть кое-что. Я вам дам две-три книжки. Если, помимо всего, чем вам здесь набивают голову, у вас найдется свободное место и время....

— Благодарю вас, — отрезал Льюишэм и отошел. Его характерная студенческая подпись была выведена сегодня очень неясно, и перо брызгало чернилами во все стороны.

— Будь я проклят, если ему удастся побороть это в ней! — сквозь зубы пробормотал Льюишэм.

ЛЮБОВЬ НА УЛИЦЕ

Льюишэму было не совсем ясно, какого образа действий ему следует держаться, чтобы преуспеть в своем великом предприятии — парализовать влияние Легюна; да и вообще положение дела было для него далеко не ясно. Его логика, эмоции и воображение как будто вели задорную игру с его волей. Все свелось к тому, что он каждый вечер стал провожать домой Этель, и поступал так в течение — будем точны — шестидесяти семи вечеров. Весь ноябрь и декабрь (за одним исключением, когда ему пришлось отправиться на самый конец Ист-Энда, чтобы купить пальто) он поджидал Этель у под'езда и провожал ее домой. Странны были эти, ни к чему не ведущие прогулки, на которые он являлся ежедневно, полный смутных желаний, и которые в результате неизменно оставляли у него в душе осадок разочарования. Прогулки эти начинались у под'езда дома Легюна, по большей части, ровно в пять, и заканчивались — таинственным образом на углу одного из переулков в Клапгэме. В переулке этом было два ряда небольших желтых домиков, с ушедшими в землю фундаментами и пестро расписанными каменными стенами. Дойдя до этого переулка, Этель каждый вечер исчезала в сером тумане и сумраке, расстилавшемся за полосой бледного света газового рожка, а Льюишэм смотрел ей вслед, вздыхал и возвращался домой.

Они говорили о том, о сем, обменивались маленькими, поверхностными наблюдениями над самими собой, над условиями их жизни и вкусами, но всегда в речах оставалось что-то недоговоренное, невысказанное, что делало все остальное нереальным и неискренним.

И все же из этих разговоров Льюишэм мог себе составить некоторое смутное понятие о ее домашней обстановке. Прислуги у них, конечно, не было; мать представляла из себя какое-то жалкое, ноющее, слезливое существо, умевшее только плакать при неприятностях. Иногда, особенно под вечер, она бывала болтлива. Она редко выходила из дому. Чэффери вставал обыкновенно поздно, и, случалось, пропадал по несколько дней подряд. Он был скуп, выдавал в неделю только двадцать пять шиллингов на

хозяйство, и этого зачастую не хватало. Мать и дочь, повидимому, не очень симпатизировали друг другу. Мать во время вдовства обнаружила большую ветренность и пользовалась довольно не-красивой репутацией: ее брак с одним из ее жильцов, Чэффери, вызвал много сплетен и толков. Они затем и услали тогда Этель в Уортлей, чтобы иметь возможность повенчаться без свидетелей. Но вся эта теневая сторона в жизни Этели — была какая-то далекая и не реальная, эта сторона — терялась где-то в конце длинной, плохо освещенной подгородной улочки, каждый вечер поглощавшей Этель. Реально было другое: прогулка, тепло, свет, движение, близость Этели, ее звонкий голос, прикосновение ее руки...

Правда, поперек всего этого лежала тень Чэффери и его шарлатанства, иногда слабая, иногда густая, мрачная, приковывающая к себе внимание. Тогда сентиментальные воспоминания теряли свою власть над Льюишэмом, он становился настойчивым в своих вопросах, граничивших с самыми тягостными сомнениями. «Помогала ли она когда-нибудь?» Она объявила, что нет. Потом прибавила, что она дома раза два-три «сидела» для того, чтобы пополнить цепь. Больше она помогать не будет. Это она обещает, если Льюишэму нужны ее обещания. Дома у нее уже были страшные неприятности из-за того, что Чэффери попался по ее вине. Мать стала на сторону вотчина и они вместе бранили Этель. А разве ее было за что бранить?

— *Разумеется*, не за что — подтвердил Льюишэм.

Он узнал также, что Легион, в течение трех дней после сеанса, чувствовал себя несчастным, очень волновался и отводил душу бесконечными монологами, при чем единственной слушательницей была Этель (за двадцать шиллингов в неделю). Затем, Легион решил отчитать хорошенько Чэффери за его несчастный обман. Но, в результате, Чэффери отчитал Легиона. Смизерс, сам того не зная, потерпел поражение от человека более умного, чем Легион, и именно этот более умный человек говорил с Смизерсом пискливым голосом Легиона.

Этель не любила говорить о Чэффери и обо всем, касающемся его профессии. Когда Льюишэм начинал допытываться, она отвечала: «Если бы вы знали, как хорошо бы забыть все это и побыть немного вдвоем!» Или: «Какой толк продолжать этот разговор?» Льюишэму иногда очень хотелось продолжать, но объяснить, какой от этого может быть толк — оказывалось трудно, и потому положение продолжало оставаться для него неясным, — а время шло.

Удивительно разнообразными казались ему эти шестьдесят семь вечеров, когда он вспоминал их впоследствии. Иногда бывало сыро, моросил дождик, иногда туман великолепной серо-белой пеленой.

окутывал землю, превращая в уютную комнату каждый ярд мостовой. Славные были эти туманы! Удивительно удобные для прогулки двух молодых людей: можно идти под руку, не обращая на себя ничего внимания, можно позволить себе множество не очень скромных, многозначительных движений, можно на тысячу ладов прижимать к себе и гладить маленькую ручку (в дешевой теплой перчатке, во многих местах заштопанной). В такие дни они казались ближе к тому неуловимому «нечто», которое красной нитью пронизывало все их знакомство. А опасности при повороте на углах! Лошади, неожиданно выскакивающие из темноты; ломовики, с фонарями на головах у лошадей; уличные фонари, смутно желтеющие вблизи и на расстоянии двадцати шагов совершенно исчезающие в дымке тумана,—все это как бы подчеркивало необходимость защиты и покровительства для хрупкой молодой девушки, хотя эта молодая девушка благополучно пережила уже три таких зимы, странствуя в тумане совершенно одна. Мало того, благодаря туману, можно было дойти до самого конца маленькой улочки, где она жила, и даже войти в под'езд, испытывая при этом восхитительное чувство риска. Но туманы слишком скоро перешли в сильные морозы; ночи стали сначала звездные, потом лунные, уличные фонари теперь горели ярко, сверкая, словно ряды желтых камней; от фонарей и из окон магазинов падали резкие полосы света на скованную морозом землю; даже звезды горели жестким, ярким огнем и не мерцали, а словно бесшумно раскалывались (если можно так выразиться). Легкую кофточку Этели заменил жакет с опушкой из поддельного барашка, а шляпу — барашковая круглая шапочка; глаза ее сияли ярким и строгим светом, а лоб казался особенно белым. Такие дни веселили душу, но зато в мороз невольно идешь быстрее, а потому Льюишэм и Этель начали удлинять путь из Челси в Клапгэм. Вначале они делали круг по боковым улицам; затем, когда первый пушистый снег возвестил о близости рождества, они стали делать длинный обход по Кингс-Род и раз даже прошлись по Бромптон-Род и Слон-Стрит, где все витрины были красиво декорированы и полны разных заманчивых вещей.

Втайне, с необычайной серьезностью и торжественностью, м-р Льюишэм истратил двадцать три шиллинга из своего капитала в сто фунтов и купил Этели маленькое золотое колечко с жемчугом. Для того, чтобы надеть это колечко, также потребовался особый церемониал: они пошли на луг, покрытый снегом и грязью, там Этель сняла перчатку, и Льюишэм надел ей кольцо, после чего наклонился поцеловать ее покрасневший от мороза пальчик, неподалеку от запачканного чернилами ногтя.

— Это глупо с нашей стороны, — сказала она. — Что мы можем сделать? Ничего!

— Погодите! — возразил Льюишэм и тон его был полон туманных обещаний.

Пораздумав хорошенько, Льюишэм в один из следующих вечеров посвятил Этель в дальнейшие подробности, — сообщил о той блестящей карьере, какая, по его мнению, может предстоять студенту южно-кенсингтонской коллегии: такой студент может быть всем, чем захочет, — старшим учителем, заведывающим школой, инспектором, ассистентом, даже профессором, а затем, затем... Все это она слушала недоверчиво, но охотно; мечты Льюишэма пугали и восхищали ее.

Колечко с жемчугом Этель надела, само собой, только для того, чтобы совершился обряд: она не могла его носить ни дома, ни у Лёгюна, а потому продела в него белую атласную ленточку и стала носить на шее, «у сердца». Льюишэм часто думал о том, что колечку должно быть так тепло у ее сердца. Покупая это кольцо, Льюишэм намеревался приберечь его для рождественского подарка, но желание видеть, как Этель обрадуется — было слишком сильно — и он не дождался рождества.

В сочельник, — уж и не знаю, как Этель ухитрилась всех обмануть, — но только они провели весь день вместе. Лёгюн лежал в постели, по случаю бронхита, и дал отпуск своей переписчице. Возможно, что она забыла упомянуть об этом дома. Студенты королевской коллегии были распущены по случаю рождественских вакаций, и Льюишэм был свободен. Приглашение дяди он отклонил: сослался на то, что в Лондоне его задерживают «дела», — хотя такой отказ означал для Льюишэма лишний расход в фунт стерлингов, если не больше. В этот день юная пара совершила нелепую прогулку в шестнадцать миль: при прощании у обоих щеки были красны и горели. День стоял морозный и снежный; небо было тускло-серого цвета; с уличных фонарей свешивались ледяные сосульки; тротуары были покрыты отпечатками, похожими на листья; позже, днем, эти листья превратились в ясно обозначенные человеческие следы. И Этель, и Льюишэм знали, что Темза, должно быть, удивительно красива, но это зрелище они приберегли напоследок. Сначала они пошли по Бромптонской дороге.

Не мешает, кстати, нарисовать более точные портреты обоих: Льюишэм — в купленном на дешевке пальто из синего сукна, с бархатным воротником, в грязных кожаных перчатках, красном галстуке и шарообразной шапке, и Этель — в позапрошлогоней кофточке и шапочке из поддельного барашка, — оба, с раскрасневшимися щеками, быстро шагали вперед, иногда под руку, стараясь не пропустить ничего, что можно посмотреть. На Бромптон-

Род было много магазинов с интересными выставками в окнах, но все это ничто, в сравнении с Пикадилли. На Пикадилли были витрины, заваленные всевозможными безделушками, перед которыми приходилось простаивать по четверть часа, чтобы все рассмотреть; и потом эти бумажные, мануфактурные магазины, — везде было столько интересного и занимательного. Льюишэм, несмотря на свое враждебное отношение к купеческому сословию, забыл бранить его, и только любовался, глядя, как Этель радовалась всем этим пустякам.

Потом они пошли по Риджент-Стрит, мимо магазинов с поддельными бриллиантами, мимо магазинов, где девушки выставляют напоказ свои длинные волосы, мимо магазинов, где за окном бегают маленькие цыплята; потом дальше, по Оксфорд-Стрит, Холборну, мимо кладбища святого Павла и через рынки, где тысячами висели в ряд гуси, пулярки, цыплята и утки, но преимущественно — пулярки.

— Я должен вам купить что-нибудь, — объявил Льюишэм.

— Нет, нет, — сказала Этель, не сводя глаз с бесчисленных рядов битой птицы.

— Но я *должен!* — повторил Льюишэм. — Выберите лучше сами, не то я могу попасть неудачно.

Ему мерещились брошки и фермуары.

— Не смейте тратить денег попусту. И кроме того, — у меня ведь уже есть кольцо.

Но Льюишэм настаивал.

— Ну, хорошо, если уж вы *должны* — я умираю с голоду, купите мне чего-нибудь поесть.

— Остроумнейшая шутка — надо запомнить!

Льюишэм, увлекая свою даму, без церемонии нырнул в дверь первого попавшегося ресторана, весьма, впрочем, внушительного вида: салфетки здесь сложены были в виде митр. Они здесь позавтракали котлетами с картофелем, обглодали дочи́ста все косточки и выпили вдвоем целые полбутылки какого-то белого вина, наудачу выбранного Льюишэмом по карте. Ни один из них раньше никогда не пил вина за обедом. Вино обошлось больше полутора шиллинга и называлось «Капри». Это было весьма сносное вино — конечно, поддельное, но согревающее и ароматное. Этель была поражена щедростью своего спутника и выпила целых полтора стакана.

Затем, согревшись, в прекрасном настроении духа, они прошли мимо Тоуэра и через Тоуэрский мост; на мосту был гребень из снега, огромные сосульки свешивались вниз и в боковых арках застыли ледяные глыбы. Это было удивительно красивое зрелище. Когда им наскучили магазины и толпа, они решительно свернули в глухие улицы и пошли домой вдоль пустынного вала. Темза была

пристине прекрасна в этом году: ледяная бахрома по берегам и плавающий лед посередине; во льду отражался багровый отблеск заката, лед плыл все дальше и дальше к югу. Над глыбами льда летали стаями чайки; иногда среди них виднелись голуби и вороны. Здания на Сэррейской стороне, серые с неясными очертаниями, смотрели таинственно; затертые во льду барки были безмолвны и пустынные; там и сям мерцало теплым огоньком освещенное окно. Солнце как-то внезапно скрылось из глаз, словно за синим валом, и Сэррейский берег расплылся в тумане, — осталось только несколько неразличимых пятен желтого света и число их постепенно росло. Когда наши влюбленные вышли из-под Чаринг-Кросс-Бриджа, перед ними, в конце большого серпа из золотых лампочек, встали здания парламента, голубоватые, неясные, где-то на полпути между землею и небом. Часы на башне сверкали, как ноябрьское солнце.

Это был чудный день, ничем не омраченный, или вернее, омраченный самой легкой тенью, да и то только в конце.

— Прощайте, дорогой, — сказала Этель. — Я была очень счастлива сегодня!

Льюишэм приблизил свое лицо к ее лицу.

— Прощайте! — проговорил он, сжимая ее руку и заглядывая ей в глаза.

— Милый-милый! — шепнула она нежно и затем снова: — Прощайте!

Вдруг Льюишэм, неведомо почему, вспыхнул и выпустил ее руку.

— Вот и всегда так. Мы счастливы. Я счастлив. А потом... потом вы уходите...

Наступило молчание, полное немых вопросов с обеих сторон.

— Милый, — шепнула она, — мы должны ждать.

Снова минутная пауза.

— Ждать! — сказал он и отшатнулся. Потом помедлил и, уже на ходу, кинул ей: — прощайте! — словно разрывая нить, связывавшую их.

ТАЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ МИСС ГЕЙДИНГЕР

Дорога из Челси в Клапгэм и дорога из южного Кенсингтона в Баттерси, в особенности если для удлинения первой идут в обход, — очень близки между собою. Однажды вечером, незадолго до рождества, две студентки из однокурсниц Льюишэма, встретили его с Этелью. Но Льюишэм не видал их: он смотрел в лицо Этели.

— Вы заметили? — не без лукавства шепнула одна из студенток.

— Мистер Льюишэм, если не ошибаюсь — сказала другая тоном полного равнодушия. Эта другая была мисс Гейдингер.

Мисс Гейдингер сидела в своей комнате, прозванной ее младшими сестрами «святилищем». Святилище это — была просто спальня, но спальня явно с намерением «интеллектуализированная». Дешевенькие обои, на которых кокетливо улыбаются серебряные розы. Мебель — самая обыкновенная, будuarная. Но зато хозяйка комнаты гордилась канторкой для письма, стоявшей посредине, и микроскопом — на шатком восьмиугольном столе у окна. Здесь же помещались книжные полки, — женского изделия, судя по обилию украшений и шаткости конструкции; на полках — золотообрезные томики поэтов — Шелли, Россети, Китса, Броунинга — и разрозненные сочинения Рэскина; сборник воскресных проповедей; социалистические брошюры в рваных, бумажных обложках; на самой верхней полке — учебники и тетрадки, в подавляющем изобилии. Развешанные по стенам автографии красноречиво свидетельствовали об эстетических наклонностях хозяйки и о некотором пристрастии ее к символизму. Здесь было «Зеркало Венеры» Бэрн-Джонса, «Благовещение» Россети, другое «Благовещение» Липпи, «Любовь и жизнь» и «Любовь и смерть» Уоттса. Одна из фотографий изображала комитет литературного кружка: посредине группы — слабо улыбался Льюишэм, а мисс Гейдингер белела туманным пятном вне фокуса в правом углу. Но мисс Гейдингер сидела спиной ко всему этому, в своем черном кожаном кресле, набитом волосом, — сидела, опершись подбородком на руку, и смотрела в огонь; глаза у нее были горячие и красные.

— Я могла бы догадаться раньше, — говорила она себе. — После этого сеанса все изменилось... — Она горько улыбнулась. — Какая-то лавочница... Все они, должно быть, таковы. И все возвращаются назад — «немножко попорченными», как выражается героиня в «Веере лэди Уиндэрмир». Может быть, и он вернется. Хотела бы я знать...

— Но зачем ему было обманывать? Зачем играть комедию предо мной...

— Быть красивой — быть красивой — это главное. Какой мужчина станет колебаться в выборе? Мужчина идет своим путем, думает по своему, делает по своему...

— Льюишэм отстал по анатомии, ничего не записывает — это бросается в глаза...

Долгое время она молчала. Лицо ее приняло напряженное выражение. Она принялась грызть свой большой палец, сначала медленно, потом все быстрее, и, наконец, снова заговорила:

— А сколько бы он мог сделать! Он способен, усидчив, силен. И вот явилось хорошенькое личико, и все пропало. О, боже! Зачем мне даны сердце и ум?

Она вскочила, заломила руки, лицо исказилось. Но слез у нее не было.

Скоро острота чувства притупилась. Одна рука ее упала вдоль платья, другой она облокотилась на камин, печально глядя на красный огонь.

— Подумать только, сколько бы он мог сделать! Эта мысль сводит меня с ума!

— Работать, думать, учиться. Надеяться и ждать. Презирать мелкие ухищрения, к каким прибегают женщины, верить в здравый ум мужчины...

— Проснуться, почувствовать себя глупой девчонкой и убедиться, что жизнь уже кончена!

Теперь ее лицо и поза выражали сострадание к самой себе:

— Какие пустяки! К чему притворяться? — голос ее оборвался. — Я никогда не буду счастлива...

Ей представилась яркая картина: будущее, к которому она так стремилась, о котором так жадно мечтала, уходило все дальше и дальше, и теперь — далекое, недоступное — оно казалось еще прекраснее, как сон в момент пробуждения. Это видение сменилось другим — картиной неизбежного одиночества, отчетливой, ощутительно-ясной. Она увидала себя — одну, такую маленькую, с таким великим горем, бесконечно жалкую — и Льюишэма, бессердечно удалявшегося... с какой-то «лавочницей». Слезы хлынули у нее из глаз — все больше — залили ей все лицо, она повернулась, словно

ища опоры, потом бросилась на колени перед маленьким креслом и, рыдая, начала бессвязно молить бога о помощи и утешении.

На другой день одна из студенток, изучавших биологию, сообщила своей приятельнице, что Гейдингер опять «опустилась». Приятельница посмотрела в ту сторону, где сидела мисс Гейдингер.

— Это скверный рецидив! — сказала она. — Знаете, я бы положительно не решилась так причесаться.

Она продолжала критически рассматривать наружность мисс Гейдингер. Она могла это делать совершенно свободно, так как мисс Гейдингер ничего не замечала. Она стояла неподвижно у окна, глядя на декабрьский туман.

— Какая она бледная! — сказала первая студентка. — Должно быть, она страшно много работает.

— Работает-то она много, да толку мало, — возразила ее приятельница. — Я спросила ее вчера, из каких костей состоит теменная часть головы, и она не могла назвать ни одной. Ни одной!

На другой день место мисс Гейдингер опустело. Она заболела — от переутомления — и проболела целых три недели, как-раз во время экзаменов. Затем вернулась назад, с смертельно-бледным лицом и бесполезным, но неослабевающим рвением.

В РАФАЭЛЕВСКОЙ ГАЛЛЕРЕЕ

Было около трех часов; в биологической лаборатории лампы были все зажжены. Студенты работали: бритвами делали «срезы» корня папоротника — для микроскопического исследования. Молчаливый, лягушкообразный юноша — своекоштный студент, не играющий дальнейшей роли в нашем рассказе — усердно работал: на лице у него было выражение усиленной скромности, и он более обыкновенного был похож на лягушку. Позади мисс Гейдингер, похудевшей и одетой небрежно — в прежнем ее стиле — было пустое место; покинутый микроскоп, разбросанные на столе кисти, карандаши, записные книжки.

На дверях классной вывесили список выдержавших рождественские экзамены. Во главе красовалось имя вышеупомянутого лягушкообразного юноши; за ним стояли фамилии Смизерса и одной из студенток. Фамилией Льюишэма бесславно начиналась серия выдержавших по второму разряду; имени мисс Гейдингер вовсе не было в списке, глухо было сказано: «невывержавших — 1». Так расплачиваются студенты за высокие чувства.

В просторной и пустынной галлерее музея, увешанной снимками с картин Рафаэля, сидел Льюишэм, погруженный в мрачные размышления. Задумчиво, небрежной рукой, он дергал себя за усы — теперь уже несомненные, при чем особенное внимание он обращал на кончики усов — достаточно длинные, чтобы их грызть.

Льюишэм силился отчетливо представить себе свое положение. Но так как в этот момент он испытывал острую боль от неудачи на экзамене, то естественно, что голова у него не могла работать особенно ясно. Тень этой неудачи лежала на всем, — пятнала его честь, унижала его гордость, представляла все в новом свете. Неисчерпаемые очарования, заключавшиеся в его любви к Этели, отошли куда-то далеко, на задний план. К лягушкообразному юноше он питал дикую ненависть. В Смизерсе он разочаровался. Он чувствовал горькую досаду и раздражение против «долбил» и «зубрилок», употреблявших все свое время на подготовку к этой нелепой экзаменационной лотерее. Да и экзаменаторы на устном

экзамене поступали не очень-то честно, а на письменном был поставлен один вопрос, совершенно не входивший в программу. Профессор Байвер — несомненный осел, неумеющий разбираться в людях, — Льюишэм был в этом уверен; такой же осел и Уикс, ассистент Байвера. Но все эти соображения не могли заслонить от Льюишэма истинной и очевидной причины его неудачи: причина, конечно, была в том, что он, день за днем терял большую половину своих вечеров, лучшего времени для занятий. И это все продолжается: он теряет дни понапрасну. Вот и сегодня он пойдет провожать ее, и кончится, наконец, тем, что и вторая часть курса — ботаника — будет сдана также бесславно. Таким образом, отбрасывая одно туманное оправдание за другим, Льюишэм ясно представил себе весь антагонизм между его отношениями к Этели и осуществлением его честолюбивых стремлений.

Последние два года все давалось Льюишэму так легко, что он не сомневался в своих дальнейших успехах. Он был уверен, что постепенно и неуклонно будет идти вперед и вперед. Когда он решил переговорить с Этелью после сеанса, ему и в голову не приходило, что разговор этот может иметь опасные последствия. Но опасность сама напомнила о себе — и очень ощутительно. Льюишэм представил себе лягушкообразного юношу дома — это был студент из довольно зажиточной буржуазной семьи — и вот он сидит в удобном кабинете, за письменным столом, по стенам книжные полки, на лампе абажур... Льюишэму приходилось писать на комоде, а чтобы не было холодно — надо было надевать теплые пальто и ставить ноги в нижний ящик комода, окутав их всем имевшимся бельем; а лягушкообразный юноша сидел за письменным столом, окруженный невероятным комфортом и удобствами, и работал, работал, работал. Льюишэм тем временем шагал по туманным улицам, по направлению к Челси, и затем, простившись с нею, бред обратно домой, уйдя с головой в нелепые фантазии.

Он старался дать правильную и беспристрастную оценку своих отношений к Этели. Он не хотел лгать себе. Он любил ее, любил быть с нею, говорить с ней, делать ей приятное, но это не было пределом его желаний. Он думал о словах оратора в Гаммерсмите: оратор этот горько жаловался, что в настоящей стадии цивилизации даже элементарная потребность человека в браке не получает удовлетворения. Добродетель сделалась пороком. «Мы женимся со страхом и трепетом. Женщина иногда всю жизнь добивается домашнего очага, а мужчине подчас удается осуществить заветное желание своего сердца только тогда, когда это желание в нем уже умерло». Эта фраза, показавшаяся тогда Льюишэму просто риторическим украшением, вспомнилась теперь и казалась страшной правдой. Льюишэм понял, что он стоит на распутьи.

С одной стороны, — блестящая лестница к славе и власти, о которых он мечтал чуть не с самого детства; с другой — Этель.

И если даже он выберет Этель, значит ли это, что он пойдет определенным путем? Ничуть! Что может выйти из этого? Несколькими прогулками больше или меньше, не все ли равно? Она безнадежно бедна, он безнадежно беден, а этот шарлатан медиум — ее вотчим. Притом же она мало образована, не понимает работы Льюишэма, его стремлений... Он вдруг увидел совершенно ясно и проникся убеждением, что после сеанса ему следовало пойти домой и забыть об Этели. Откуда у него взялась эта непреодолимая потребность разыскать ее? Зачем его воображение сплело около нее эту странную сеть возможностей? Он запутался в этой сети, глупо запутался... Все его будущее принесено в жертву мимолетному роману на улице. Он презрительно дернул себя за усы.

Льюишэму представилось, будто Этель, ее таинственная мать и ловкий обманщик Чэффери, — все втроем опутывают его этой неосызаемой сетью, удерживают его, тащут назад все дальше и дальше от улыбающегося ему славного, блестящего будущего. Неужели же всю жизнь носить дырявые сапоги и платье, забрызганное грязью от проезжающих мимо экипажей? И без того уже медаль Форкса, которую он считал своею, все равно, что потеряна...

О чем он только думал? Всему виной его воспитание. Молодые люди среднего и высшего классов не попадают таким образом. Родители во-время предостерегают их, заботятся о том, чтобы они не набивали себе головы любовным вздором раньше, чем станут вполне самостоятельными. И это гораздо лучше.

Он все забросил. Не только свое дело, свою ученую карьеру, но и литературный кружок, политику, свое служение человечеству... Но разве нельзя изменить этого, даже теперь? Почему не сказать Этели все — прямо и откровенно? Или написать? Если он напишет сейчас, он выиграет вечер и может позаняться в библиотеке. Он скажет, что нельзя больше провожать ее, попросить ее отказаться от этих прогулок — по крайней мере, до окончания следующих экзаменов. Она поймет. Льюишэм чуть-чуть усомнился, поймет ли она, и при одной мысли об этом — рассердился. Но к чему смягчать... Если взглянуть на нее... Но к чему смотреть на нее с этой точки зрения? Да просто потому, что она неблагодарна! Льюишэм даже закашлялся от досады.

И все же настаивать на отказе от прогулок казалось ему унизительным. И Этели, конечно, покажется, что это низко с его стороны. И выйдет еще хуже, гораздо хуже! Но почему же низко? Почему она должна найти это низким? Он опять рассердился.

Осанистый швейцар при музее, украдкой наблюдавший за Льюишэмом, дивился: чего ради студент сидит перед «Жертвоприноше-

нием в Листре», грызет губы, усы и ногти, хмурится и не сводит глаз с картины? И вдруг увидал, что студент неожиданно вскочил с решительным видом, повернулся на каблуках и скорым шагом вышел из галереи, не глядя ни вправо, ни влево. Спустившись с лестницы, Льюишэм скрылся из виду.

— Пошел, должно быть, добывать себе еще усов, чтобы было что грызть, — усмехнулся швейцар... — Ишь, как припустил! Словно его укусили.

Подумав немного, швейцар прошелся по галлерее и остановился перед картиной.

— Деревья немножко велики, в сравнении с домами, — сказал он себе, стараясь быть вполне беспристрастным, — а все же это искусство и настоящее искусство. Бьюсь об заклад, что он не сумеет сделать и вполвину так хорошо.

XVIII

МИТИНГ „ДРУЗЕЙ ПРОГРЕССА“

После этих достопамятных размышлений прошел вечер и утро, еще один вечер — и в мире водворился новый порядок вещей. Молодая лэди — у нее была кофточка с воротником из поддельного барашка и не особенно веселое лицо — молодая лэди возвращалась из Челси в Клапгэм одна; а Льюишэм сидел в библиотеке; мерцал электрический свет, перед Льюишэмом была навалена внушительная груда книг на столе, но глядел он поверх книг, не видя их и смотря неизвестно на что.

Новый порядок вещей введен был не без труда, и объяснение оказалось не из приятных. Этель, очевидно, не могла оценить вполне всей важности понижения Льюишэма в списке экзаменующихся. — «Но ведь вы же все-таки выдержали» — повторяла она. Точно так же не могла она понять всей необходимости вечерних занятий. — «Конечно, я не судья в этом, — справедливо говорила она, — но мне кажется, вы и без того учитесь целый день. Неужели нельзя погулять какие-нибудь полчаса?» Она уверяла, будто на прогулку идет не более «получаса», забывая, что Льюишэму надо предварительно дойти до Челси и затем вернуться домой. Ее обычную нежность заслонила на время слишком очевидная обида, сначала на Льюишэма, а потом, когда он стал протестовать, — на судьбу.

— Должно быть, так уж суждено, — говорила она. — Газуется, это не так уж важно, если мы будем видеться не очень часто. Что делать! — шептала она дрожащими, побелевшими губами.

Льюишэм после этого разговора вернулся домой с тяжелым сердцем и весь вечер сочинял письмо к Этели, где старался объяснить все происшедшее. Но от научных занятий стиль у него сделался сухим, и то, что он умел шепнуть на ухо, он написать не мог. Его оправдания, действительно, не делали ему чести. Но то, как Этель принимала эти оправдания — показало, что она просто не понимает разумных доводов. У Льюишэма бывали сильные приливы и отливы любви к ней. По временам он жестоко сердился на Этель за то, что она не умеет смотреть на вещи так, как он смотрит. Льюишэм бродил по музею, ведя с ней воображаемые разговоры и уничтожая

ее своими доводами; но бывали минуты, когда ему приходилось призывать на помощь всю свою привычку к дисциплине, приходилось припоминать все ее обидные слова и возражения — только чтобы не броситься стремглав в Челси и не сдаться на капитуляцию самым позорным образом.

Этот новый порядок вещей длился две недели. Мисс Гейдингер понадобилось значительно меньше времени, чтобы заметить, что неудача на экзаменах произвела перемену в Льюишэме. Она догадывалась о прекращении вечерних прогулок. Для нее скоро стало очевидным, что Льюишэм работает с каким-то ожесточением: он приходил рано, уходил позже всех. Здоровый румянец у него на щеках побледнел. В последнее время Льюишэма каждый вечер можно было видеть над грудой диаграмм и учебников, в одном из уголков библиотеки, где был не такой сильный сквозняк: Льюишэм сидел там и торопливо набрасывал какие-то заметки в своей памятной книжке. Позже, в студенческом клубе, он писал письма — письма, адресованные в маленький писчебумажный магазин в Клапгэме — но этого мисс Гейдингер не видала. Письма, по большей части, были коротки: Льюишэм, как вообще все студенты южного Кенсингтона, гордился отсутствием у себя литературного слога; некоторые из этих писем, весьма похожие на телеграммы, глубоко ранили сердце, быть может, слишком жаждавшее нежных слов.

Мисс Гейдингер возобновила свои авансы, но Льюишэм принимал их не всегда дружелюбно. Тем не менее, прежние отношения между ними до некоторой степени восстановились. Одно время Льюишэм беседовал с мисс Гейдингер очень любезно, потом начал злиться и, при каждой попытке заговорить с ним, царапал, как сухая ветка. Но все же мисс Гейдингер снова стала давать ему книги, продолжая утонченный процесс эстетического воспитания, начатый в прошлом году. «Вот книга, которую я обещала вам», — сказала она однажды, и Льюишэм припомнил, когда она обещала. Книга эта была — собрание поэм Броунинга. Здесь был и «Медиум Слэдж» и знаменитая «Статуя и Бюст» — своего рода лекция о неволе сердца.

Слэдж не заинтересовал Льюишэма, — герой вовсе не соответствовал его понятию о медиуме, — но «Статуя и Бюст» он читал и перечитывал несколько раз. Эта поэма произвела на него глубокое впечатление. Ложась спать (в постели Льюишэм читал обыкновенно художественную литературу: над современной художественной литературой — не грех ведь и вздремнуть в теплой постели; другое дело — научные книги...) Ложась спать, он повторял эти строки, глубоко волновавшие его:

Шли месяцы, шли годы; день за днем
Их юность и влюбленность угасали,
И прошлое казалось смутным сном.

Должно быть, посеянные таким образом семена принесли плод; и в эту ночь Льюишэм видел сон. Ему снилась Этель, снилось, что он, наконец, женится на ней. Он привлек ее в свои объятия, наклонился поцеловать — и вдруг увидал, что губы ее сморщились, глаза потускнели, а лицо изборождено морщинами. Она была стара, безнадежно стара! Льюишэм проснулся прямо в ужасе и, с неприятным чувством в душе, лежал, не смыкая глаз до самого рассвета. Он думал: вот теперь, после их разлуки, она каждый вечер одна возвращается домой по пустынным улицам; он думал о своем положении, о том, что он выбит из колеи и что в жизненной борьбе почти все шансы против него. Он понял и имел мужество высказать себе неприкрашенную голую истину: карьера вообще стала мало вероятной, а если вернуться к Этели — то и совсем безнадежной. Очевидно, надо выбирать или Этель — или карьеру. Или, может быть, он предпочитает колебаться и потерять и то, и другое? До сих пор он чувствовал себя только несчастным, но тут место уныния заступил гнев, тот гнев, который является результатом постоянно, систематически подавляемых желаний...

На другой день Льюишэм грубо оскорбил Парксона. Да, это было как-раз на другой день после знаменательного сна. Он оскорбил Парксона на митинге друзей прогресса, у Парксона на квартире.

Среди английского студенчества в наше время нет типов, которые бы осуществляли благородный идеал «жить просто и мыслить возвышенно». Наша экзаменационная система допускает мышление, — все равно возвышенное или низменное, — лишь в очень ограниченных размерах. Но жизнь кенсингтонского студента уж слишком бедна интересами и при случае он делает попытки принять участие в исследовании космического процесса. Одной из таких попыток и были периодические собрания «Друзей прогресса», — общества, в котором был прочитан реферат Льюишэма о социализме. Целью Общества было ревностное служение делу усовершенствования мира, но до сих пор в этом направлении еще не было сделано ни одного решительного шага.

«Друзья» сошлись в гостиной Парксона, ибо Парксон был единственный из «друзей», достаточно богатый, чтобы иметь гостиную. Он мог тратить до ста фунтов в год. «Друзья» были разного возраста, по большей части очень юного. Некоторые курили, другие держали в руках трубки, только-что докуренные, но пить было нечего, кроме кофе, — на большее средств не хватало. На собрании присутствовал Дэнкерлей, помощник заведующего одной из пригородных школ и бывший коллега Льюишэма (по Уортлею); именно Льюишэм и ввел Дэнкерлея в общество «Друзей Прогресса». Все «друзья» были в красных галстуках, кроме Блезер-

лея: Блезерлей надел — оранжевый, чтобы показать, что он причастен к искусству; на Дэнкерлее — по обыкновению был черный галстук, черный с голубыми горошинами: помощники заведующих в небольших частных школах обязаны соблюдать приличия. Все держали себя очень непринужденно: каждый говорил, сколько хотел и сколько позволяли другие.

Обыкновенно самозванный «Лютер социализма» — комик этот Льюишэм! — ставил и защищал какой-нибудь тезис, но в этот вечер он был угнетен и рассеян. Он сидел, перекинув ноги через ручку кресла, что красноречиво свидетельствовало о состоянии его духа. Он захватил с собою пачку алжирских сигареток (двадцать штук на пять пенсов) и, повидимому, главной задачей его было выкурить их все до окончания вечера.

Блезерлей приготовил доклад на тему: «Женщина в социализме» и принес с собою огромное американское издание Шелли и томик Теннисона, с «Принцессой»; из обеих книг щетиной торчали бумажные закладки, вложенные в те места, откуда Блезерлей собирался приводить цитаты. Он стоял за уничтожение «монопольи» и за то, чтобы семья была заменена яслями. Его речь была то жеманна, то елейна, а взгляды, очевидно, не популярны.

Парксон был уроженец Ланкашира и ревностный квакер. Кроме того, он был ярым поклонником Рэскина и насквозь пропитан его учением и фразеологией. Он слушал Блезерлея с видимым неодобрением и в своем возражении энергично защищал старинную и честную традицию брака, который Блезерлей называл «монополистическим учреждением».

— С меня вполне достаточно простой и чистой старой теории: любовь и верность, — говорил Парксон. — Если мы начнем марать наше политическое движение этой гадостью...

— Разве это применимо в жизни? — воскликнул Льюишэм, в первый раз подав голос.

— Что применимо?

— «Простая и чистая старая теория»? Я знаю теорию. Я верю в теорию. Блезерлей начитался Шелли, но это ничего не значит. Но теория — все-таки теория. Вы встречаете предназначенную вам девушку. Теория говорит, что вы можете ее встретить в любой момент. Вы встречаетесь с ней, когда вы еще слишком молоды. Вы влюбляетесь, женитесь, несмотря на препятствия. Любовь смеется над замками. У вас рождаются дети. Так говорит теория. Все это очень хорошо для человека, которому отец мог оставить пятьсот фунтов в год. Но разве она применима к приказчику? К старшему учителю, в роде Дэнкерлея? Или... ко мне?

— В таких случаях рекомендуется воздержание, — сказал Парк-

сон. — Имейте веру. Девушку, на которой стоит жениться, стоит и подождать.

— И состариться, ожидая?

— Надо брать счастье с бою, — возразил Дэнкерлей. — Я, Льюишэм, не вижу, в чем тут затруднение. Борьба за существование, несомненно, сурова, иногда ужасна — и все же... почему не бороться вдвоем? Две соединенные силы — хорошая ставка в игре. Если бы я встретил девушку, которая так понравилась бы мне, что я захотел бы жениться, — я женился бы завтра же, а моя рыночная цена — уже семьдесят.

Льюишэм, внезапно заинтересованный, быстро повернулся к Дэнкерлею.

— В самом деле, вы бы женились?

Дэнкерлей слегка покраснел.

— Не задумываясь. Почему нет?

— Но чем же жить?

— Об этом — уж потом. Когда...

— Я не могу согласиться с вами, м-р Дэнкерлей, — сказал Парксон. — Не знаю, читали ли вы «Сезам и Лилии», но в этой поэме гораздо лучше, чем бы мог это сделать я, обрисован идеал женщины и ее назначение.

— Ерунда все эти ваши Сезамы и Лилии, — перебил его Дэнкерлей. — Я пробовал читать. Не выдержал... Вообще, не выношу Рескина. Слишком много предлогов. Стил, несомненно, великолепен, но не в моем вкусе. Рекомендуются читать дочерям оптовых торговцев бакалейными товарами — на предмет развития утонченных вкусов. Нам этикие утонченности ни к чему.

— Но неужели бы вы, действительно, женились? — начал Льюишэм, глядя на Дэнкерлея с небывалым восхищением.

— Почему же нет?

— Имея... — Льюишэм колебался.

— Сорок фунтов в год. Не больше. Да.

Молчаливый юноша, безмолвствовавший до тех пор, прочистил горло и сиповатым голосом выговорил.

— Это смотря по девушке.

— Зачем же непременно жениться? — спросил Блезерлей, но никто на него не обратил внимания.

— Вы должны согласиться, что вы требуете многого, требуя, чтобы девушка... — начал Парксон.

— Ничуть не бывало. Когда девушка выбрала себе мужчину, а он выбрал ее, то место девушке — возле этого мужчины. Что пользы томиться напрасно? Да еще другого томить? Боритесь вместе.

— Славно сказано! — воскликнул Льюишэм взволнованным

голосом. — Вы говорите, как мужчина, Дэнкерлей. Пусть меня повесят, если это неправда.

— Место женщины, — настаивал Парксон, — у домашнего очага. А когда нет домашнего очага... Я утверждаю, что в случае надобности мужчина должен трудиться семь лет — как Иаков ради Рахили, трудиться, обуздывая свои страсти, пока не будет в состоянии устроить теплое и уютное гнездышко...

— Теплую клетку для любимого, балованного животного! — вскричал Дэнкерлей. — Нет! Уж если жениться, так жениться на женщине. Женщины всегда принимали участие в борьбе за существование, и всегда будут принимать, и в этом я еще не вижу большой беды. Страшная вещь — эта борьба за существование. Единственная разумная теория на этот счет, — ваша, Льюишэм. Женщина, которая не борется бок о бок с мужчиной, женщина, которую держат взаперти, кормят и балуют... — он запнулся.

Юноша, с изрытым оспой лицом и огромной трубкой в зубах, подсказал библейское слово.

— Это грубо, — сказал Дэнкерлей. — Я хотел сказать: все равно, что наложница в гареме.

Для Льюишэма — это была самая интересная часть вечера. Парксон неожиданно встал, принес «Сезам и Лилии» и прочитал собранию длинную сладкозвучную цитату, подействовавшую на прения, как прокатный вал на садовые дорожки. Все вдруг притихли, затем центром спора сделался Блезерлей; в результате этого спора, Блезерлей оказался всеми обиженным и со своими взглядами остался в блестящем одиночестве. Таким образом выяснилось, что браку, как учреждению, не грозит непосредственной опасности, — по крайней мере, со стороны южно-кенсингтонских студентов.

В половине десятого Парксон вышел со своими гостями — проводить их и пройтись. Ночь была теплая для февраля, и луна светила ярко. Парксон пристроился к Льюишэму и Дэнкерлею, — к великому неудовольствию Льюишэма: в этот вечер Льюишэм был расположен к излияниям, особенно, если эти излияния можно было адресовать такому идейному человеку, как Дэнкерлей. Дэнкерлей жил в северной части города, поэтому все трое пошли по направлению к Гай-Стрит. Здесь они простились с Дэнкерлеем, и Льюишэм с Парксоном повернули на юг к Чельси, куда недавно переселился Льюишэм.

Парксон был один из тех поборников добродетели, которые питают неодолимое влечение к разговорам на сексуальные темы. Он не успел наговориться вволю. Спор с Дэнкерлеем велся в слишком резкой форме. Но зато теперь Парксон изливал свое красноречие на Льюишэма, постепенно переходя на темы все более и более интимные. Льюишэм был в отчаянии. Он шагал все

быстрее. Льюишэм — только и думал о том, как бы отделаться от Парксона: Парксон — только и думал о том, как бы выложить Льюишэму побольше интересных секретов о себе и некоей особе, с необычайно чистой душой, о которой Льюишэм слышал уже раньше.

Прошла целая вечность.

Льюишэм вдруг понял: он уже не идет, а стоит под фонарем, и Парксон показывает ему фотографическую карточку. На карточке изображено было женское лицо, с неправильными чертами, на диво невыразительными; верна была также верхняя часть «художественного» костюма — и локоны. Парксон усиленно убеждал Льюишэма, что эта женщина — идеал чистоты и что этот идеал составляет собственность его, Парксона. Пояснив это, Парксон с гордостью воззрился на Льюишэма, видимо ожидая приговора.

Льюишэм боролся с желанием сказать правду.

— Неинтересное лицо, — сказал он наконец.

— Это истинно прекрасное лицо, — произнес Парксон спокойно, но твердо. — Вы обратили внимание на глаза, Льюишэм?

— О, да! Да. Я вижу глаза.

— Они... невинны. Это глаза младенца.

— Да, да. Именно в этом роде. Очень недурна, старый дружище, поздравляю вас. Где она живет?

— Такого лица вы не встретите в Лондоне.

— Никогда! — решительно заявил Льюишэм.

— Я не всякому показал бы это, — продолжал Парксон. — Вы не можете представить себе, что для меня значит эта чистая сердцем, удивительная девушка.

Он торжественно вложил фотографию обратно в конверт, глядя на Льюишэма с видом человека, только-что выполнившего обряд поворотимства. Затем, дружески взяв Льюишэма под руку (чего тот терпеть не мог), принялся многословно распространяться о любви, приводя в виде иллюстрации разные анекдоты о своем идеале. Все это было слишком близко к тому, о чем думал сам Льюишэм, и потому он волей-неволей слушал. Время от времени ему приходилось подавать реплики, и он чувствовал идиотское желание — хотя и сознавал, что оно идиотское — ответить откровенностью на откровенность. Необходимость бежать от Парксона становилась все очевиднее, и Льюишэм под наплывом таких разнообразных чувств — начал терять самообладание.

— Каждый человек нуждается в путеводной звезде, — сладким голосом сказал Парксон. Льюишэм выругался сквозь зубы.

До квартиры Парксона было теперь рукой подать; Льюишэму пришло в голову, что от навязчивого спутника всего легче будет освободиться, если проводить Парксона до дому. Парксон машинально согласился, не переставая говорить.

— Я часто видел вас беседующим с мисс Гейдингер. Простите мою нескромность, я...

— Мы с ней большие друзья, — подтвердил Льюишэм. — А вот и ваша берлога.

Парксон задумчиво посмотрел на свою «берлогу». — Мне еще хотелось бы поговорить о многом: Я, во всяком случае, провожу вас до Баттерси. Так я говорю, ваша мисс Гейдингер...

С этого момента Парксон все время делал намеки на предполагаемую близость мисс Гейдингер с Льюишэмом, и это все больше изводило Льюишэма.

— Вот, Льюишэм, пройдет еще немного времени, и вы также познаете, как бесконечно очищает душу истинная любовь...

В это мгновение, в смутной надежде хоть как-нибудь прекратить нестерпимые разглагольствования Парксона, Льюишэм тоже пустился в откровенности.

— Я знаю, — сказал он. — Вы говорите, будто я... Я уже три года, как наметил себе суженую...

Но его порыв прошел так же скоро, как и явился, и желание быть откровенным пропало с первых же слов.

— Вы хотите сказать, что мисс Гейдингер...

— О! К чорту мисс Гейдингер, — вскричал Льюишэм, и вдруг круто, невежливо повернувшись спиной к Парксону, зашагал по направлению к югу; Парксон так и остался стоять на дороге, не закончив фразы.

Он стоял так в изумлении, глядя вслед Льюишэму, и вдруг спохватился и побежал за Льюишэмом, спросить: за что тот обидел его. Догнал — и некоторое время они шли рядом. Парксон едва поспевал за своим спутником. Вдруг Льюишэм повернулся. Лицо у него было совершенно белое; голос усталый.

— Парксон, — сказал он, — вы дурак... У вас овечье лицо, манеры буйвола, а говорить с вами — тоска нестерпимая. Чистота! Туда же! У девушки, карточку которой вы мне показывали, глаза бессмысленные, да и вся она препротивная, как, впрочем, и следовало ожидать... Я не шучу теперь... Проваливайте!

Дальше Льюишэм шел уже один. Он направился не прямо к себе домой в Чельси, а несколько часов ходил по одной улице в Баттерси, мимо дома, в котором жила она. Страсть, овладевшая им, из ненависти перешла в нежность и желание. Если б можно было увидеть ее сегодня! Теперь он уже знает, чего хочет. Он уже решил: завтра бросит учение — к чорту экзамены! — и пойдет провожать ее. Слова Дэнкерлея вызывали в уме Льюишэма ряд новых, удивительных мыслей. Если б он только мог увидеть ее теперь!

Его желание исполнилось. На углу улицы с ним повстречались две фигуры мужчины в очках и клерикального фасона шляпе,

с поднятым до седых бакенбард воротником пальто—Льюишэм сразу узнал Чэффери; его спутница — ее Льюишэм знал слишком хорошо. Оба прошли мимо, не заметив Льюишэма. Свет лампы на минуту упал на лицо Этели: оно было бледно и утомлено.

Льюишэм прирос к месту, в немом изумлении глядя вслед двум удалявшимся фигурам, слабо освещенным мерцающим светом фонарей. Он был ошеломлен. Часы где-то медленно пробили полночь. Слышно было, где-то далеко хлопнула дверь, — дверь в доме Чэффери.

Уже давно все затихло, а Льюишэм все еще стоял, не двигаясь.

— Она была на сеансе; она нарушила свое обещание! — звенело, монотонно повторяясь, в его мозгу.

Объяснение не заставило себя ждать. «Она сделала это, потому что я оставил ее. Я мог бы догадаться об этом по ее письмам. Она сделала это, потому что думает, что я отношусь к ней не серьезно, что моя любовь к ней ребячество, не более... Я знал, что она не поймет!»

РЕШЕНИЕ ЛЬЮИШЭМА

На другое утро, после разговора с Легюном, Льюишэм убедился, что его догадка была справедлива: Этель наконец уступила настояниям вотчима и согласилась попробовать себя в чтении мыслей.

— Начало было хорошее, — потирая руки, говорил Легюн. — Я уверен, что и дальше пойдет хорошо. У нее несомненно есть способности. Я всегда это угадывал по ее лицу. У нее есть способности.

— Что же, вам пришлось... затратить много усилий, чтобы заставить ее? — спросил Льюишэм; говорить об этом ему было нелегко.

— Д-да, трудненько пришлось. Трудненько. Само собою — и я дал это понять — ей вряд ли возможно было оставаться у меня в качестве переписчицы и секретаря, раз она не интересуется моими исследованиями...

— Вы это сделали?

— Пришлось сделать. К счастью, Чэффери — это была его идея... Я должен сознаться...

Легюн, изумленный, остановился на полуфразе. Льюишэм, сделав какой-то странный жест обеими руками, круто повернулся и пошел по направлению к лаборатории. Легюн изумленно смотрел ему вслед. Он стал втупик, столкнувшись с физическим явлением, выходящим за пределы круга его понятий. «Странно!» — сказал он наконец и начал распаковывать свой портфель. Время от времени он останавливался и поглядывал на Льюишэма, который теперь сидел на своем месте и обеими руками барабанил по столу.

В это время из соседней комнаты вышла мисс Гейдингер и обратилась к молодому человеку с каким-то замечанием. Льюишэм ответил — повидимому лаконически, — потом встал, с минуту колебался в выборе между тремя дверями лаборатории и наконец вышел через ту, которая вела на заднюю лестницу. В этот день Легюн больше не видал Льюишэма.

За то вечером Этель снова возвращалась домой в обществе Льюишэма, и голоса обоих звучали серьезно. Девушка не пошла

прямо домой: вдвоем с Льюишэмом — они прошли на окраину Клапгэма, на луг, где можно говорить без помехи. Уже зажглись газовые фонари. Разговор на этот раз был очень серьезный.

— Почему вы нарушили свое обещание? — спрашивал Льюишэм.

Ее оправдания были уклончивы и недостаточно убедительны.

— Я думала, что для вас это вовсе не так важно... А когда вы перестали провожать меня, — мне стало все равно... Притом же, ведь это не одно и то же, что сеансы с духами...

Вначале Льюишэм был зол и настойчив. Гнев ослеплял его. На все ее возражения он отвечал: — Это обман. Даже если вы обманываете не нарочно, все равно это обман — бессознательный. Даже если тут есть частица правды, это нехорошо. Это само по себе нехорошо, все равно, есть обман или нет. Почему они не читают мыслей друг у друга? Зачем непременно вы им понадобились? Ваша душа — только ваша, и ничья больше. Она священна. Позволить производить над ней эксперименты... ну, уж нет. Этого я не допущу! Настолько-то вы все-таки принадлежите мне. Я не могу представить себе вас в таком виде... связанной... И этот дурак будет прижимать вам рукой затылок и задавать вопросы. Я не допущу этого. Мне легче убить вас, чем вынести это!

— Вовсе он этого не делает.

— Ну, так будет делать, — не все ли равно? Это только начало. Нельзя зарабатывать себе пропитание такими средствами. Это нехорошо, верьте мне, я много об этом думал. Пусть они читают мысли своих дочерей и гипнотизируют своих теток, а переписчиц — пусть оставят в покое.

— Но что же мне делать?

— Только не это. Есть вещи, которых не следует допускать, что бы ни вышло из этого. Иначе — можно бог знает до чего дойти. Ведь должна же быть честь! Мало ли, что мы бедны... Пусть прогоняет вас. Пусть прогоняет. Мы найдем другое место...

— Никто другой не даст мне гиней в неделю.

— Возьмите меньше.

— Но ведь мне надо каждую неделю платить шестнадцать шиллингов за свое содержание.

— Это ничего не значит.

Она подавила рыдание.

— Уехать из Лондона... я не могу. Не могу!

— Как уехать? Почему уехать? — Льюишэм изменился в лице.

— О! Жизнь так жестока! Я не могу. Они... они не позволят мне остаться в Лондоне.

— Что вы этим хотите сказать?

Она объяснила, что, если Легион рассчитает ее, ей придется

ехать в деревню, к тетке, сестре Чэффери, нуждающейся в компаньонке. Чэффери непременно этого требует.

— Они называют это компаньонкой. А я знаю, что буду просто прислугой: у нее нет прислуги. Когда я говорю об этом с матерью, — мать плачет и говорит, что не хочет, чтоб я уезжала. Но мама боится его: «Почему, — спрашивает, — ты не делаешь того, что он хочет?»

Этель сидела, глядя прямо перед собой в сгушавшиеся сумерки и говорила монотонным голосом:

— Мне очень трудно говорить с вами об этом. Это все вы... Если б вы не сердились... Но вы так на это смотрите... Я могла бы это делать, если б не вы. Ведь я же... я помогала... Я пошла к мистеру Легюну с тем, чтобы помочь, в случае, если что не удастся... Ну да — в тот вечер. Нет, не надо! Мне слишком тяжело было сказать вам это раньше. Но я, право, не чувствовала... пока не увидела вас там. Тут я вдруг почувствовала себя такой низкой и жалкой...

— Ну, и что же?

— Да ничего больше. Я, действительно, занималась чтением мыслей, но никогда не обманивала с тех пор... никогда... Если б вы знали, как мне тяжело...

— Отчего вы не сказали мне этого раньше?

— Не могла. Пока вас не было, я смотрела на все это иначе. Он над всеми потешался — передразнивал Легюна и смешил меня. Мне это казалось шуткой. — Она вдруг остановилась. — И зачем вы тогда пошли за мной? Я говорила вам — не ходите, — ведь вы же знаете — я говорила!

Она готова была зарыдать. С минуту она молчала, потом вскрикнула:

— Не могу я ехать к сестре! Пусть это трусость, но я не могу.

Наступило молчание. И вдруг Льюишэм понял, что ему надо делать. Его затаенное желание внезапно предстало пред ним в качестве неотложного долга.

— Послушайте, — начал он, не глядя на Этель и дергая себя за усы. — Я не допущу вас больше до этого проклятого шарлатанства, не позволю вам больше торговать своей душой. И из Лондона вы не уедете.

— Но что же я буду делать? — ее голос дрожал и срывался.

— Вы? Вы можете сделать одно... если только не побоитесь...

— Что же?

Он не сразу ответил, потом повернулся и взглянул на нее. Глаза их встретились...

Мрак, окутывавший его мысли, мало-по-малу рассеивался. Этель была очень бледна и смотрела на Льюишэма со страхом и

недоумением. В его душе зарождалось новое чувство к ней, какая-то особая нежность. До сих пор он любил ее за молодость и свежесть, за живость характера, но теперь она была бледна, и глаза ее смотрели устало. Ему показалось, что он на время как будто забыл о ней и вдруг сейчас опять вспомнил. И опять в нем вспыхнула прежняя страсть.

— Так что же я могу сделать?

Льюишэму было до странности трудно сказать. Что-то сдавило ему горло, лицо подергивалось; им овладело какое-то нервное напряжение, близкое и к смеху, и к слезам. Все в мире отступило на задний план перед его великим желанием. И в то же время, он боялся, что Этель не посмеет — не примет его слов всерьез.

— Так что же? — спросила она еще раз.

— Разве вы не понимаете, что мы можем пожениться? — сказал он, и решимость его вдруг окрепла. — Разве вы не видите, что это для нас единственный исход? Пора вам покончить с вашим шарлатанством, а мне — с набиванием головы всякой дрянью. Мы... мы должны обвенчаться.

Он помолчал, потом вдруг сделался очень красноречив:

— Мир против нас... против нас! Вам он предлагает деньги за обман... за низкий поступок. Ведь это же низость! Вам не предлагают честного труда, а дают грязную, черную работу. И эта работа держит нас вдали друг от друга. Меня он манит обещанием успеха, если я покину вас... вы еще не знаете всего... Если дожидаться, пока у нас будут достаточные средства к жизни — можно прождать годы, целую вечность. Что-нибудь может нас разлучить... Мы можем совершенно потерять друг друга из виду... Этого нельзя допустить. Будем бороться. Зачем нам разлучаться? Если только истинная любовь не то же самое, что все прочее — не пустое слово... Это единственное средство. Мы двое — принадлежим друг другу.

Она смотрела на него, смущенная этим неожиданным оборотом дела. Сердце у нее билось очень быстро.

— Мы так молоды, — сказала она... — Чем мы будем жить? Вы зарабатываете всего гинею.

— Я могу заработать больше. Я думал об этом. Я только об этом и думал последние два дня. Я придумывал, что бы мы могли предпринять. У меня есть деньги.

— У вас есть деньги?

— Около ста фунтов.

— Но мы так молоды... И моя мать...

— Ее мы не станем спрашивать. Мы никого не спросим. Это наше дело, Этель, это наше дело! Тут вопрос не в средствах. Я еще раньше... думал... дорогая, разве вы не любите меня?

Она не ожидала, что Льюишэм способен так волноваться. Она смотрела на него удивленными глазами, все еще погруженная в практические соображения. Она рассчитывала.

— Будь у меня пишущая машина, я бы могла брать переписку. Я слыхала...

— Вопрос не в средствах к жизни. Этель, милая... я так мечтал...

Он запылся. Она смотрела ему в лицо, в глаза, полные страсти, красноречиво говорящие о том, чего он не умел высказать словами.

— Хватит у вас смелости пойти об руку со мною?—шепнул он.

Новый мир открылся перед нею наяву, как он не раз открывался пред нею в самых заветных мечтах. И она вдруг оробела. Она отвернулась, опустила глаза. Она готова вступить в заговор... Но как?

— Я придумаю как. Доверьтесь мне! Ведь мы хорошо знаем друг друга... Подумайте только! Мы вдвоем...

— Но я никогда не думала...

— Я найму две комнатки. Это очень легко, подумайте, подумайте, что это будет за чудная жизнь!

— Но как же я?..

— Вы согласны?

Она посмотрела на него и вздрогнула.

— Вы знаете... вы должны знать... что мне было бы приятно... что я люблю...

— Так вы согласны?

— Но, милый... Милый, раз вы настаиваете...

— Ну да! — торжествуя, вскричал Льюишэм. — Разумеется, вы согласны! — Он оглянулся вокруг и понизил голос. — О, милая! Дорогая! — Голос его перешел в едва слышный шопот, но лицо говорило красноречивее слов. Мимо прошли два клерка. Они, болтая, возвращались домой из конторы — и подоспели как-раз вовремя, чтобы напомнить Льюишэму о том, насколько неудобно изливать свои чувства на улице.

КАРЬЕРА ПРЕРВАНА

В следующую среду, под вечер, — это было незадолго до экзамена по ботанике — Смизерс увидел Льюишэма в большой библиотеке; Льюишэм штудировал том Британской энциклопедии. Возле него лежал календарь Уитэкера за текущий год, открытая записная книжка, том издания «Современная Наука» и «Справочник Отдела Наук и Искусств». Смизерс, преклонявшийся пред умением Льюишэма извлекать отовсюду ценные данные по тому или другому предмету при подготовке к экзамену, несколько времени размышлял: какие такие сведения по ботанике можно извлечь из Уитэкера? Вернувшись домой, Смизерс с час просидел над таким же календарем, имевшимся у его квартирной хозяйки. Но Льюишэм изучал не ботанику: Льюишэм изучал вопрос о браке по наилучшим авторитетам. Одна из книг, лежавших перед ним в библиотеке, была «Эволюция брака» профессора Летурно — вещь несомненно интересная, но в данном случае мало пригодная.

Из календаря Льюишэма узнал, что за 2 фунта 6 шиллингов 1 пенс или за 2 фунта 7 шиллингов 1 пенс (не считая «чаев») — в течение недели можно проделать все формальности и зарегистрировать брак в мэрии своего округа. Льюишэм вписал эти цифры в свою записную книжку и произвел сложение. Плата за венчание колебалась в очень широких пределах, но церковного брака Льюишэм не желал по личным своим мотивам. А гражданский брак, при помощи записи в регистрационном бюро, — был связан с нежелательной провололочкой. Но делать было нечего. Это будет стоить 2 ф. 7 шил. 1 пенс, а с разными подачками, скажем, 2 ф. 10 шил.

Немного погода, с совершенно излишней демонстративностью, Льюишэм извлек из кармана чековую книжку и книжку сберегательной кассы и, разложив все это перед собою на столе, приступил к дальнейшим арифметическим вычислениям. Оказалось, что он располагает суммой в шестьдесят один фунт, четыре шиллинга, семь пенсов; правда, это не сто фунтов, как он говорил, но все же кругленькая сумма. Многие начинали крупные дела с меньшим. Вначале у Льюишэма действительно было сто фунтов. За

вычетом пяти фунтов на свадьбу и раз'езды; останется около пятидесяти шести. Этого вполне достаточно. На цветы, карету и свадебное путешествие расходов не будет, но машину придется купить. Этель также должна вносить свою долю в хозяйство.

— Это чертовски заманчиво! Никто ничего не будет знать! — говорил себе Льюишэм, с совершенно неразумной экзальтацией; странное дело — эта затея начинала принимать в его глазах характер рискованного приключения, не лишённого приятности. Он откинулся на спинку кресла, с записной книжкой в руке...

Но долго мечтать было некогда: в этот день предстояло еще много дела. Прежде всего, необходимо было узнать адрес окружного архивариуса, а затем отыскать квартиру, чтобы поселить в ней Этель — их квартиру, где им придется жить вместе.

При мысли об этой — теперь уже такой близкой — новой жизни вдвоем, Льюишэму представилась она, полная жизни, доступная, ласковая... Один из служащих в библиотеке, перегнувшись через конторку и грызя зубами кончик разрезного ножа, как это делают все служащие в южно-кенсингтонской библиотеке, — с любопытством уставился на Льюишэма. Льюишэм заметил это — и не без труда проснулся от своего сна на яву. Ему пришло в голову в эту минуту, что читать чужие мысли, в сущности, вовсе нетрудно. Он покраснел, неловко поднялся с места и поставил том энциклопедии обратно на полку.

Отыскать квартиру оказалось делом нелегким. После первой же попытки, Льюишэм вообразил себе, что у него подозрительный вид, и это порядком стесняло его в дальнейших поисках. Он выбрал район к югу от Бромптон-Род. Здесь было только одно неудобство — он мог случайно поселиться в одном доме с каким-нибудь кенсингтонским студентом. Не то, чтобы это было так уж важно, но дело в том, что обыкновенно женатые люди в Лондоне не живут в меблированных комнатах. Люди, слишком бедные для того, чтобы нанять отдельный дом или квартиру, предпочитают обыкновенно брать комнаты без мебели. На одну пару, живущую в меблированных комнатах, в Лондоне найдется сто пар, занимающих комнаты без мебели (с правом пользования кухней). Отсутствие собственной мебели — в глазах квартирной хозяйки опасный признак, — оно свидетельствует об отсутствии капиталов. Первая содержательница меблированных комнат, к которой обратился Льюишэм, объявила, что она не любит дам-жилиц, ибо с ними масса хлопот. Вторая была того же мнения; третья сказала мистёру Льюишэму, что он «молоденек еще для женитьбы»; четвертая категорически заявила, что она сдает комнаты только одиноким; пятая была молодая особа, с хитрыми ужимками, явно любившая знать всю подноготную о своих жильцах: она подвергла

Льюишэма самому тщательному допросу. Вынудив его прибегнуть к очевидной лжи или чему-то в этом роде, она выразила опасение, что ее комнаты «вряд ли подойдут», и, любезно приседая, выпроводила его на улицу.

У Льюишэма долго горели уши и щеки после этого разговора. Чтобы остыть, он погулял немного по улице и затем сделал еще одну попытку. На этот раз хозяйка оказалась ему страшной и вместе жалкой, такая она была вся серая и пыльная, с глубокими морщинами на лице, проведенными грязью, трудом и заботой. На ней был грязный чепец, с'ехавший на бок. Она провела Льюишэма вверх по лестнице в комнату с оборванными обоями и указала на инструмент, прикрытый рваным зеленым шелком, сообщив: «Можно пользоваться фортепианом». Льюишэм приподнял доску и прикоснулся к клавишам: разбитые струны издавали странные, нестройные звуки. Он еще раз обвел взглядом комнату. — «Так вы говорите 18 шиллингов? Благодарю вас... Я дам вам знать»... Женщина улыбнулась опущенными углами рта и, не говоря ни слова, двинулась усталой походкой к двери. Льюишэм подивился ее жалкому виду и беспомощности, но расспрашивать не стал.

Следующая квартирная хозяйка оказалась подходящей. Это была опрятного вида немка, одетая чисто, даже франтовато. У нее были льняного цвета волосы, с завитой чолкой, — и словоохотливость изумительная; она так и сыпала словами, при чем, благодаря ее плохому английскому выговору, ее не всегда было легко разобрать. Она спросила пятнадцать шиллингов в неделю за крошечную спальню и небольшую гостиную, отделенную створчатой дверью от ее собственных апартаментов. За уголь, по ее словам, она брала «шесть пенсов за котел» — это она говорила вместо корзинки. Она не сразу поняла, что Льюишэм женат, но, узнав об этом, не задумалась ни минуты набавить цену. — «Восемнадцать шиллингов», объявила она невозмутимо. «Платить каждый первый день недели... Согласны?» Мистер Льюишэм еще раз обошел комнаты. Они были чистенькие. Японские вазочки, выданные в качестве премии из чайного магазина, засиженные мухами олеографии в золоченых рамках, две салфеточки, припигуленные на спинках кресел и фигурирующие в качестве украшений; комод, за недостатком места в спальне, помещался в гостиной... Все это Льюишэм склонен был рассматривать с юмористической точки зрения.

— Я беру комнаты со следующей субботы, — сказал он.

Хозяйка выразила уверенность, что комнаты супругам понравятся, и предложила Льюишэму сейчас же взять квартирную книжку. При этом она вскользь заметила, что предыдущий жилец был капитан и жил у нее три года. (Вы никогда не услышите

ни от одной квартирной хозяйки, чтобы кто-нибудь жил у нее меньше трех лет). Затем что-то произошло (тут она заговорила по-немецки) — и теперь этот капитан держит своих лошадей. Надо полагать, что это было результатом пребывания капитана именно на квартире у немки. Она вышла и вернулась уже с маленькой книжкой, бутылочкой чернил и отвратительнейшим пером, на обложке книжки написала фамилию Льюишэма, а на первой странице — расписку в получении восемнадцати шиллингов. Она была, видимо, очень деловая особа. Льюишэм заплатил, и тем дело кончилось. «Фам, наверно, будет утробно!» — прозвучало ему вслед утешительное напутствие, когда он уже выходил на улицу.

Затем Льюишэм отправился в Чельси и интервьюировал пожилого джентльмена в мэрии. Пожилой джентльмен был толстощекий; в очках; обращение его было отеческое, но деловитое. Каждый вопрос он повторял по два раза:

— Что же я могу сделать для вас? Вы желаете жениться? Без церковного оглашения?

— Да, без оглашения.

— Ага, без оглашения..

И так далее, в том же роде. Затем он вынул книгу и приготовился записывать.

— Каких лет невеста?

— Двадцати одного года.

— Самый подходящий возраст... для невесты.

Он посоветовал Льюишэму достать кольцо и сказал, что понадобятся два свидетеля.

— Видите ли... — нерешительно начал Льюишэм.

— Здесь всегда есть кто-нибудь под рукою, — народ привычный, — успокоил его регистратор.

Четверг и пятницу Льюишэм провел в чрезвычайно повышенном настроении. Никакие мысли о крушении карьеры, повидному, не смущали его в эти дни. Всякие сомнения на время рассеялись. На душе было так радостно и легко, что он готов был пуститься в пляс по коридору. Он чувствовал себя до странности неотвественным за свои поступки и проявлял особый, довольно неприятный вид юмора, который никому не пришелся по вкусу. Льюишэм ни с того, ни с сего принялся поздравлять мисс Гейдингер и желать ей всего хорошего, а в буфете — через всю комнату бросил овсяной лепешкой в Смизерса и попал в одного из служащих в художественном отделе. То и другое было крайне глупо. В первом случае Льюишэм, нанеся обиду, тотчас же раскаялся, но во втором — усугубил оскорбление тем, что, перейдя через всю комнату, подошел к оскорбленному и обидно-подозрительным тоном спросил: не видал ли кто-нибудь его лепешки. После этого он

полез под стол и наконец, под стулом одной из студенток, нашел лепешку, запыленную, но еще пригодную для еды. Усевшись рядом со Смизерсом, Льюишэм принялся есть лепешку, не переставая препираться с оскорбленным служащим. Служащий жаловался, что студенты позволяют себе делать бог знает что и что он этого дела так не оставит, а пожалуется в комиссию, заведующему студенческой столовой. Льюишэм возразил, что не стоит поднимать историю из-за таких пустяков, и предложил служащему, если угодно, немедленно же получить сатисфакцию — а именно, бросить в него, Льюишэма, бифштексом и пудингом.

Затем Льюишэм принялся извиняться перед служащим и до изнеможения доказывал ему, что при таких условиях — попасть довольно трудно. Служащий смягчился, они выпили по бокалу пива или чего-то другого, и тем дело кончилось. Под вечер, однако же, Льюишэм, к чести его нужно сказать, испытал жгучее чувство стыда. Мисс Гейдингер не хотела разговаривать с ним.

В субботу утром, Льюишэм послал в Кенсингтон заявление, что он нездоров, и затем захватил все свои пожитки и отправился на Уоксхоллскую станцию, где сдал вещи на хранение. Сестра Чэффери жила в Тонгэме, недалеко от Фарнгэма, и Этель, уволенная неделю тому назад, в это утро должна была, простившись со своей слезливой мамашей, выехать из дому и начать свое новое рабство. Условились, что Этель выйдет или в Фарнгэме, или в Уокинге, где будет удобней, и вернется с обратным поездом в Уоксхолл, где встретится с Льюишэмом. Таким образом, Льюишэму предстояло неопределенное время ждать ее на главной платформе.

Вначале это приключение веселило его. Затем, погуляв часок по длинной платформе, он пришел в философское настроение, и его охватило чувство полной оторванности от остального мира. Возле дорожного мешка одного из пассажиров он увидел пучок вырванных с корнем растений, и ему пришло на ум курьезное сравнение. Его корни — все его пожитки — находились внизу, в камере для хранения багажа. Но что за багаж был у Льюишэма! Ящик с книгами да чемодан с платьем, несколько аттестатов и удостоверений, небольшая сумма денег и не слишком крепкий организм, а вокруг — огромная масса народа, враждебная ему — целый огромный мир! Если бы Льюишэм через минуту перестал существовать, было ли бы кому-нибудь дело до этого, кроме нее, кроме Этели? А в нескольких милях отсюда, быть может, и она в эту минуту чувствует себя такой же маленькой и одинокой...

Как бы у нее не вышло неприятности с багажом. Что, если тетка вбедет ей навстречу в Фарнгэм? Или вдруг у нее украдут кошелек? Что, если она приедет слишком поздно? Венчание назначено в два часа... А вдруг она совсем не приедет! Перед

Льюишэмом уже прошло целых три поезда, Этели все не было — и смутное чувство страха сменилось глубоким унынием.

Наконец, сна приехала. Было уже двадцать три минуты второго. Льюишэм стащил ее багаж вниз, сдал его на хранение вместе с своим собственным — и через минуту они уже катили по направлению к мэрии в коляске — в первый раз в жизни. Они почти не говорили друг с другом — если не считать нескольких наставлений, наскоро преподанных Льюишэмом, но у обоих блеснули глаза от волнения, и руки их под фартуком кэба были все время соединены.

Старичок-регистратор держал себя деловито, но ласково. Жених и невеста произнесли свои обеты; свидетелями были старичок-регистратор, низенький чернобородый клерк и какая-то особа женского пола, предварительно сбегавшая по этому случаю вниз, чтобы снять передник. Старичок-регистратор не томил их длинною речью. — «Вы люди молодые, — сказал он, — а жизнь вместе — трудная вещь... Будьте добры друг к другу». Он улыбнулся немногo грустно и дружески протянул им руку.

На глазах у Этели блеснули слезы. Она хотела ответить — и не могла.

XXI

Д О М А

Еще несколько минут, торопливая расплата со свидетелями, и Льюишэм был возле нее. Он весь сиял. На улице их немного задержала густая толпа рабочих, уже возвращавшихся домой: в этот день был полупраздник. На ступеньках крыльца лежало несколько зерен риса, — след более торжественного венчания.

Маленькая девочка с любопытством обвела критическим взором юную чету и что-то шепнула на ее счет своему оборванному приятелю.

— Ну, уж нет! — сказал тот. — Они приходили только за справкой.

Маленький оборванец, очевидно, не умел судить по наружности.

По людной улице дошли пешком до Уоксхоллской станции, почти не разговаривая друг с другом; затем Льюишэм, приняв на себя возможно более равнодушный вид, добыл их общий багаж, сданный на хранение по двум отдельным билетикам, и взвалил его на извозчика. Сундуки Льюишэма пришлось привязать снаружи, но небольшой коричневый сак, заключавший в себе приданое Этели, был так невелик, что уместился на сиденьи. Представьте себе довольно подержанный экипаж, на экипаже желтый сундучок и много выдавший на своем веку чемодан мистера Льюишэма; вообразите самого мистера Льюишэма, со всеми его капиталами, унылую лошадь с неровным ходом, престарелого возницу в потертом кафтане и старинном плаще с капюшоном, ругающегося *sotto voce* и подгоняющего лошадь кнутом. Очутившись в экипаже, юные новобрачные стали менее церемонными и чаще пожимали друг другу руки. «Этель Льюишэм», — вслух повторил несколько раз Льюишэм. Этель в ответ называла его «муженек», или «милый мой муж», и сняла перчатку, чтобы с вызывающим видом посмотреть на кольцо, и не только посмотрела, но и поцеловала кольцо.

Они порешили никому не признаваться, что только-что повенчались, и торжественно условились, что, по приезде на квартиру, Льюишэм будет обращаться с Этелью несколько грубовато. Немка-

хозяйка встретила их в коридоре с любезной улыбкой, выразила надежду, что они благополучно доехали, и рассыпалась в обещаниях всевозможных удобств и комфорта. Льюишэм помог неряшливой горничной внести вещи в комнаты, заплатил извозчику крону и с решительным видом пошел вслед за дамами.

Этель с удивительным самообладанием отвечала на расспросы мадам Гадов, заглянула в ее комнаты. Затем дверь к хозяйке затворилась. Льюишэм бродил по гостиной, дергая себя за усы и делая вид, будто любителюся фотографиями — и, к удивлению своему, заметил, что он дрожит...

Неряшливая служанка, единственная в доме, принесла бараньи котлеты и лососину (консервированную): все это Льюишэм просил хозяйку приготовить к их приезду. Он ходил по комнате и смотрел в окно, потом услышал, как дверь за служанкой захлопнулась, и обернулся при звуке шагов Этели: Этель робко выходила из-за портьеры.

Она вдруг преобразилась, переодевшись в домашнее платье. До сих пор Льюишэм видел ее без шляпы и кофточки только однажды, в достопамятный драматический момент. Теперь она была в блузке из какой-то мягкой темно-красной материи с кружевами у рукавов и у ворота; видна была ее красивая шея. А волосы ее были распущены... Это был целый неизведанный мир нежных завитков и волн золотистого шелка. Какой она казалась нежной и хрупкой! В жизни бывают дивные мгновения. Льюишэм сделал шаг вперед и протянул руки. Она оглянулась на закрытую дверь и кинулась в его объятья...

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

В течение трех незабвенных дней существование Льюишэма представляло собою ряд самых удивительных ощущений. Жизнь была слишком хороша и чудесна, чтобы в ней нашлось место сомнениям или думам о будущем. Быть с Этелью само по себе было непрерывным наслаждением — она на каждом шагу поражала Льюишэма, никогда не имевшего сестер, все в ней казалось таким очаровательным и милым. В ее присутствии Льюишэм стыдился своей силы и неуклюжести. А ласка, светившаяся в ее взоре, а душевная теплота, заживавшая в ее глазах этот свет!

Даже быть врозь с нею — и то было чудесно и восхитительно в своем роде. Теперь он был уже не обыкновенный студент, а мужчина, имеющий свою отдельную, частную жизнь. Восхитительно было, простившись с Этелью где-нибудь по-близости Южно-Кенсингтонского вокзала, подыматься по Экзибишен-Род вместе с товарищами. Это были студенты, ютившиеся одиноко где-нибудь в грязных, унылых номерах; Льюишэму так приятно было сознавать, что, в сравнении с ним, умудренным своим недолгим опытом, они не более, как мальчишки! Восхитительно было, забывшись над работой, откинуться на спинку стула и грезить о новой встрече. И еще восхитительнее — с первым ударом полдневного колокола, под звон которого оживала широкая лестница, — или даже еще за несколько минут до звонка — незаметно проскользнуть на тенистое кладбище за часовней, и встретить там улыбающееся личико и услышать нежный голос, услышать все милые глупости, какие шепчут друг другу влюбленные! А после четырех — другая встреча и совместное возвращение домой — к себе домой!

Теперь маленькая фигурка уже не ускользала от Льюишэма на углу глухой улочки, не скрывалась в туманной дали, не уносила с собой его невысказанное желание. И никогда этого больше не будет. Сидя в лаборатории, Льюишэм долгие часы проводил в мечтательных размышлениях и — сказать правду — занимался тем, что придумывал нелепейшие ласковые слова: «Милая жена!», «Женка моя дорогая!», «Миленькая моя, сладкая моя женка», «Крылышко мое». Милое занятие для студента! Это лучший

образчик его чудачеств в те достопамятные дни. Однажды, заглянув в свое сердце, Льюишэм, к великому удивлению, открыл в себе неожиданное сродство со Свифтом — пристрастие к уменьшительным, к языку лиллипутов. Поистине это было преглупое время.

На третий день после своего вступления в семейную жизнь он сделал такое диковинное сечение нерва, что все ахнули от удивления. Биндон, профессор ботаники, памятуя недавний провал Льюишэма у него на экзамене, говорил в курилке одному из коллег, что никогда еще профессора не ошибались так в оценке способностей студента.

Этель тоже переживала чудное время, полное сладостных волнений. Она была хозяйкой дома — и х дома. Она ходила по лавкам, закупая провизию, и благообразные приказчики почтительно называли ее «Ма'м». Заказывая обед и переписывая в расходную книгу счета, она чувствовала себя взрослой и полноправной. Время от времени она откладывала перо и принималась мечтать. Четыре дня — блаженных дня! — под ряд она встречала и провожала Льюишэма, жадно ловила новоизобретенные ласковые слова — последний плод его фантазий.

Хозяйка была очень любезна и занимательно рассказывала о том, с какими необычайно неряшливыми и распушенными служанками сводила ее судьба. Этель всячески старалась скрыть, что она так недавно замужем, и прибегала для этого ко всевозможным невинным ухищрениям и уловкам. В субботу вечером она написала письмо матери (Льюишэм помогал ей писать) — почти хвастаясь своим геройским бегством и обещая в скором времени навестить мать. Письмо это они опустили в ящик с таким расчетом, чтобы оно пришло не раньше понедельника.

Этель была вполне согласна с Льюишэмом, что только ее участие в медуимическом шарлатанстве вотчима привело их к более близкому знакомству — взаимное влечение они не ставили ни во что. Как видите, оба они старались держаться на известной высоте. Тем не менее, оба не скупились на из'явления нежных чувств.

Льюишэм убедил Этель отложить визит к родителям до вечера понедельника. «Дадим себе хоть один день настоящего медового месяца!» — настаивал он. В его добрачные расчеты вовсе не входило то обстоятельство, что им и после свадьбы придется поддерживать сношения с м-ром и м-сс Чэффери. Даже и теперь Льюишэм не был склонен взглянуть в лицо этой очевидной необходимости. Он предвидел, хотя решил и старался игнорировать это, разные неприятные объяснения и тягостные семейные сцены. Но стремление держаться на высоте и тут помогло ему побороть себя.

— Проживем, по крайней мере, хоть эти дни для самих себя! — сказал он, и этим дело было решено.

Если б не кратковременность этого медового месяца и не предчувствия грядущих огорчений, это были бы действительно чудные дни. Например, их первый обед — правда он немножко простыл, пока они добрались до него тогда, в субботу, но за то весело было необычайно. Ни у одного из супругов не замечалось отсутствия аппетита; несмотря на единение душ, сдвигание стульев, пожимание рук и тому подобные проволочки, кушали оба исправно. В этот день Льюишэм впервые изучил как следует ее ручки с короткими белыми пальчиками, и тут впервые кольцо, которым они обменялись тогда на лугу, вышло из своего заветного уголка и заменило собой обручальное кольцо. Оба то и дело озирались кругом и, встречаясь взорами, улыбались друг другу. Все движения у них были трепетные и порывистые.

Этель уверяла, что ей страшно нравится их квартирка, восхищалась и мебелью, и своим новым положением, а Льюишэм был в восторге от ее восторга. В особенности забавляли ее громоздкий комод, не уместившийся в спальне и стоявший в гостиной, и шуточки Льюишэма над салфеточками на креслах и олеографиями.

Уничтожив котлеты, большую половину маринованной лосося и свежий хлебец, молодые с меньшим аппетитом набросились на пудинг из тапиоки. Разговор их носил отрывочный характер.

— Ты слышал, как она назвала меня *мадам*?

— А теперь мне надо выйти и купить кое-что. Нужно закупить все на воскресенье и понедельник. Я составлю список. Не хорошо, если она заметит, как я мало смыслю в хозяйстве... Я хотела бы больше знать!

В ту минуту Льюишэм в этом наивном признании Этелью своего невежества по части хозяйства не нашел ничего, кроме подходящего повода для шуток и подтрунивания. Он перевел разговор на другую тему и стал шутливо сокрушаться о том, что их свадьба вышла такой убогой.

— Ни шафериц, ни детей, усыпавших путь цветами, ни карет, ни полиции, охраняющей свадебные подарки, ничего такого, что полагается при венчании. Не было даже белых бантов с цветами. Только ты и я — и ничего больше.

— Только ты и я! О!

— Ты глупости говоришь, — сказал Льюишэм, помолчав, и продолжал: — А сколько мы потеряли по части речей! Ты только представь себе — встает шафер: — «Леди и джентльмены — выпьем за здоровье невесты!» Ведь этот тост, кажется, полагается говорить шаферу?

Вместо ответа она протянула руку.

— И знаешь ли что? — продолжал он, оказав должное внимание этой ручке, — ведь мы даже не были представлены друг другу!

— Ну да — мы не были! — отвечала Этель. — Да, да: не были! Мы так и не были представлены друг другу!

По каким-то необъяснимым причинам оба они пришли в страшный восторг при мысли, что они не были представлены друг другу...

Попозже, Льюишэм, распаковав свои книги и прочее — отправился по магазинам вместе с Этелью и, не скрываясь, шел рядом с нею и, видимо, в прекраснейшем расположении духа, нес ее покупки — множество пакетов и фунтиков из синей и серой бумаги и мешок с конфетами из кондитерской, а из кормана его пальто — знаменитого пальто, купленного в Вест-Энде — торчал хвост завернутой в бумагу трески. В таких высоких чувствах и с такими убогими средствами начали новобрачные свой медовый месяц.

Вечером в воскресенье они долго бродили по тихим улицам и наконец вышли в Гайд-Парк. Весенняя ночь была тиха и ясна: луна ласково светила над ними. Они стали на мосту и оттуда смотрели вниз на реку, на далекие желтые огоньки Паддингтона. Они долго стояли, тихонько переговариваясь и крепко прижимаясь друг к другу, потом оба разом вздохнули — и смолкли.

Вдруг им показалось, что кто-то прошел мимо, и Льюишэм заговорил — в своем обычном возвышенном тоне. Он сравнивал реку с жизнью и находил символическое значение в кущах Кенсингтонских садов и в далеких ярких огоньках. «Долгая борьба, — говорил он, — и в конце огни». В сущности, Льюишэм сам не знал, что он подразумевал под огнями, как не знала и Этель, хотя волнение его, бесспорно, сообщилось и ей. — «Мы боремся с миром!» — думал он вслух, и эта мысль доставляла ему огромное удовольствие. — «Весь мир против нас, и мы ведем с ним борьбу».

— Но не будем побеждены. — сказала Этель.

— Как можем мы быть побеждены — борясь вместе? Ради тебя и победил бы двенадцать миров!

В этом ласковом лунном сиянии им казалось так сладостно, и благородно, и даже слишком легко — бороться с миром: ведь у них столько отваги...

— Вы, должно быть, недавно замужем? — заметила мадам Гадов с вкрадчивой улыбкой, отворяя дверь Этели. Это было в понедельник утром, когда Этель, проводив мужа в школу, вернулась домой.

— Д-да, не особенно давно.

— Вы очень счастливы! — сказала мадам Гадов и, вздохнув, прибавила: — я тоже была очень счастлива.

М-Р ЧЭФФЕРИ У СЕБЯ ДОМА

Блаженный розовый туман, в котором жили молодые супруги, несколько поредел в понедельник, когда м-р и м-сс Д. Э. Льюишэм отправились с визитом к матери новобрачной и м-ру Чэффери. М-сс Льюишэм, видимо, боялась этой встречи, но Льюишэм был горд и радостен и вел себя героем. На нем была бумажная сорочка с полотняным воротничком и новенький черный атласный галстук, очень красивый, купленный утром самой м-сс Льюишэм на свой страх и ответственность. Ей, конечно, хотелось, чтобы ее избранник имел вполне приличный вид.

М-сс Чэффери предстала в полуосвещенном коридоре в виде грязного чепца, припавшего к плечу Этели, и двух черных рукавов, обвивших ее шею. Вынырнув на свет, она оказалась женщиной средних лет, небольшого роста, на тоненьком носике — очки в серебряной оправе, бесхарактерный рот и озабоченные глаза. Эта маленькая, невзрачная, словно запыленная женщина — до странности походила лицом на Этель. Она вся дрожала от нервного возбуждения.

В нерешительности она посмотрела на Льюишэма, потом кинулась обнимать и целовать его, повторяя:

— Так вот он какой, м-р Льюишэм!

Это была третья особа женского пола, целовавшая Льюишэма, с тех пор, как он был ребенком.

— А я-то так боялась! — Она истерически захохотала. — Вы меня извините, но для меня такое утешение видеть вас таким — совсем еще молодой и такой порядочный на вид... Не то, чтобы Этель... Он был ужасен! — зашептала м-сс Чэффери. — И зачем ты писала об этом месмеризме? Впрочем, он сам тебе скажет; он ждет.

— Куда же нам итти? Вниз? — спросила Этель.

— Да, он ждет вас там.

М-сс Чэффери взяла маленькую керосиновую лампочку, и они спустились по темной витой лестнице в подземную столовую: столовая была освещена газом, горевшим в матовом стеклянном шаре, на котором были вырезаны звезды. Этот спуск в подземелье про-

извел на Льюишэма явно угнетающее впечатление... Он вошел первый и в дверях тяжело перевел дух. Что такое может сказать им Чэффери? Впрочем, Льюишэму — это, конечно, все равно. М-р Чэффери стоял у камина, спиной к огню, и обрезывал перочинным ножиком ногти. Его золотые очки, сдвинутые вниз, горели ярким пятном на самом кончике его длинного носа, а поверх очков он глядел на м-ра и м-сс Льюишэм и — Льюишэм усумнился было на минуту — нет, это так: глаза его улыбались, и весело, игриво улыбались.

— Так ты вернулась, беглянка? — шутливо обратился он к Этели, минуя Льюишэма. Говорил он слегка фальцетом.

— Она приехала навестить свою мать, — сказал Льюишэм. — Вы, если не ошибаюсь, м-р Чэффери?

— Желал бы я знать, за коим чортом вы пожаловали сюда и кто вы такой? — вскричал Чэффери, наклоняя голову вперед так, чтобы смотреть не поверх очков, а через очки, и от души хохоча. — По вашему самодовольному виду я склонен думать, что это вы стянули пирожное. Так не вы ли тот м-р Льюишэм, о котором эта сбившаяся с пути девица упоминает в своем письме?

— Я самый.

— Мэгги, — обратился м-р Чэффери к м-сс Чэффери, — существует класс людей, с которым деликатничать бесполезно, которым деликатность практически незнакома. Имеется ли у вашей дочери брачное свидетельство?

— М-р Чэффери! — сказал Льюишэм, а м-сс Чэффери воскликнула: — Джемс, как ты можешь!

Чэффери зашелкнул перочинный нож и спрятал его в карман жилета; затем обвел взглядом присутствующих и пояснил тем же ровным, спокойным голосом:

— Я полагаю, мы живем в цивилизованной стране и должны устраивать свои дела, как цивилизованные люди. Моя падчерица проводит две ночи вне дома и возвращается со своим предполагаемым мужем. Не знаю, как другие, но я, по крайней мере, не склонен отнестись легко к вопросу о легальности ее положения.

— Вам бы следовало знать ее лучше, — начал Льюишэм.

— Ну, к чему спорить, — весело прервал его Чэффери, небрежно указывая пальцем на невольное движение Этели, — к чему спорить, когда документ у нее в кармане? Почему ей не показать мне его теперь же? Я не вижу в этом ничего обидного. Не бойтесь, я не разорву. А если бы и разорвал, — копий можно получить, сколько угодно, по номинальной цене 2 шиллинга 7 пенсов за штуку. Благодарю вас. Льюишэм, Джордж Эдгар. Двадцати одного года. И... тебе — тоже двадцать один? Я никогда не знал в точности, сколько тебе лет, душа моя; твоя мать не хотела мне этого говорить. Студент! Благодарю вас. Чрезвычайно вам обя-

зан. Вы сняли у меня с души большую тяжесть. А теперь — что вы имеете сказать в свое оправдание по этому замечательному делу?

— Вы получили письмо... — начал Льюишэм.

— Да, с извинениями — личные нападки я оставляю в стороне... Да, сэр, это было извинительное письмо. Вам, по молодости лет, хотелось пожениться, и вы воспользовались предложением. В вашем письме вы уже не упоминаете о том обстоятельстве, что вам хотелось пожениться. Какая скромность! Но, тем не менее, вы приезжаете сюда обвенчанными. Это нарушает течение нашей жизни, причиняет тысячу неприятностей и хлопот, но вам до этого нет дела! Я не порицаю в а с. Виноваты не вы, виновата природа. Ни один из вас пока еще не знает, на что вы обрekli себя. Погодите — узнаете. Вы — муж и жена, и сейчас это для вас самое главное и существенное... (Этель, душа моя, поставь шляпу и палку твоего супруга за дверь).

Итак, сэр, вы изволите не одобрять того способа, которым я зарабатываю себе пропитание?

— Д-да. Считаю себя обязанным заявить, что не одобряю.

— Вы не обязаны заявлять это, но... ваша неопытность служит вам извинением...

— Да, но это было бы неправдиво — неискренно.

— Догма, — сказал Чэффери. — Догма!

— Что вы разумеете под словом: догма?

— Догма — догма и есть. Но мы обсудим это на досуге. Теперь час нашего ужина, а я не из тех людей, которые спорят против совершившихся фактов. Мы с вами породнились. Этого не переделаешь. Оставайтесь ужинать, и мы с вами выясним все вопросы. Мы теперь связаны друг с другом — надо постараться извлечь из этого возможную пользу. Ваша жена и моя — накроют на стол, а мы тем временем побеседуем. Почему бы вам не сесть в это кресло, вместо того, чтобы стоять, опираясь на его спинку? Здесь у нас не реферат с дебатами, не общество, а семейный очаг — *domus* — скромный, несмотря на мое отъявленное шарлатанство... Вот так-то лучше. И прежде всего — я надеюсь, от души надеюсь, — Чэффери выразительно подчеркнул эти слова, — что вы не диссидент.

— Я? Нет, я не диссидент.

— Очень приятно. Я рад этому. А я немножко боялся... Нечто в вашей манере... Я не выношу диссидентов. Питаю к ним органическое отвращение. На мой взгляд они — громадный недостаток нашего Клапгэма. Видите ли... Я не встречал среди них ни одного, который бы не был обманщиком — ни одного!

Он сделал гримасу, при чем очки свалились с его носа и звякнули о пуговицы жилета.

— Я очень рад, — повторил он, надевая очки. — Диссиденты, неконформисты, пуритане, вегетарианцы, члены обществ воздержания и тому подобные господа — для меня нестерпимы. Я очистил свой ум от всякого формализма и ханжества. У меня натура истого эллина. Вы читали Мэтью Арнольда?

— Помимо научных книг...

— А! Вам бы следовало почитать Мэтью Арнольда — удивительно блестящий ум. Вы найдете у него одно качество, которого иногда немного недостает нашим ученым. Они несколько чересчур объективны, они слишком придерживаются явлений, феноменов. Я ищу нуменов. Нуменов ¹⁾, м-р Льюишэм! Вы понимаете?

Он остановился; глаза его из-под очков кротко-вопросительно смотрели на юношу. Этель, уже без шляпы и кофточки, внесла бренчавший у нее в руках четырехугольный черный поднос, белую скатерть, тарелки, ножи и стаканы, и принялась накрывать на стол.

— Понимаю, — краснея, отвечал Льюишэм. — У него не хватило духу сознаться в своем невежестве относительно нуменов.

— Я ищу нуменов, — повторил Чэффери с видимым удовольствием, жестикулируя правой рукой и как бы отменяя все, кроме нуменов. — Я не могу удовлетвориться поверхностями и видимостями. Я один из тех нимфолептов — вы знаете, н и м ф о л е п т о в... Я ищу правды, добиваясь самой сути вещей, ускользающей основной причины... Я поставил себе за правило никогда не лгать самому себе — никогда. Не многие могут сказать это о себе. По моему, правда начинается у себя дома. А для большинства — она именно дома кончается. Оно, знаете, и безопаснее, и приличнее. У большинства людей — у ваших типичных диссидентов, *par excellence* — она только и слоняется, что по улицам, обличая соседей, а домой не заходит. Вам понятна моя точка зрения?

Он посмотрел на Льюишэма. Льюишэму казалось, что у него как будто туман в голове. Он постарался быть как можно осторожнее.

— Видите ли, я несколько удивлен, — начал он неопределенно, — принимая во внимание происшедшее, мне, если можно так выразиться, несколько странно слышать, что вы...

— Что я рассуждаю о правде? Вам не будет странно, если вы поймете, как я ставлю вопрос — если вы усвоите себе мою точку зрения. Я именно эту-то точку зрения и стараюсь выяснить вам теперь, когда мы породнились, когда вы сделались моим пасынком. Естественно, что для меня это важно теперь. Вы ведь еще молоды, очень молоды, и потому суровы и скоры в суждениях. Только

¹⁾ Нумен — философский термин — «вещь в себе».

годы дают надлежащий тон уму — смягчают лоск образования. Из вашего письма — и по лицу вашему — я догадываюсь, что вы были в числе участников маленького инцидента — у Лежюна.

Он вдруг остановился, сообразив что-то, видимо раньше не приходившее ему в голову.

— Кстати! Ведь это объясняет и поведение Этели!

Этель стукнула горчичницей, ставя ее на стол, и сказала — правда, не особенно громко:

— Ну да, объясняет.

— Но вы, значит, встречались раньше? — спросил Чэффери.

— Да, в Уортлее.

— Так, так, понимаю.

— Я изобли... я был одним из способствовавших изобличению, — заявил Льюишэм. — Раз вы сами затронули этот вопрос, я считаю долгом сказать.

— Я знал это, — прервал Чэффери. — Но какой это был удар для Лежюна! — С минуту он пристально смотрел на кончики своих сапог, втягивая внутрь углы рта, потом усмехнулся странной, кривой усмешкой.

— А знаете ли, эта штука с рукой была придумана недурно.

Льюишэм не сразу ответил: ему казалось, что это замечание не вяжется с предыдущим.

— Мне это представляется в ином свете, чем вам, — пояснил он наконец.

— Не можете отрешиться от прописной морали, а? Хорошо, хорошо. Мы не будем входить в подробности. Но, помимо своего нравственного достоинства — просто, как артистически выполненный фокус — это было недурно.

— Я не знаток по части фокусов...

— Как и большинство тех, кто берется за изобличения. Согласитесь, что вы никогда не слыхали и не думали об этом раньше — я говорю о пузыре. А между тем ясно, как день, что медиум, которого держат за руки, будет стараться проделывать все, что только возможно, зубами. А что вы скажете о пузыре, запрятанном за обшлаг? Может ли быть улика нагляднее? Я хорошо знаю литературу предмета, а между тем ни разу не встречал даже упоминания об этом. Ни разу. Я не могу наливиться тому, как много есть вещей, которые не приходят в голову исследователям. Они не считают и не взвешивают тех шансов, которые против них, и потому с самого начала идут по ложному пути. Ну вот — я. Я фокусник по натуре. Я все свое свободное время придумываю разные новые фокусы и проделки или упражняюсь в выполнении их, потому что меня это страшно забавляет. Все это интересует и занимает меня самого. Ну-с — каков же будет вывод из всех этих

рассуждений? Взять хоть бы одно это: мне известны сорок восемь способов производить стуки, из которых, по крайней мере, десять моего собственного изобретения. Десять оригинальных способов производить стуки! — Он говорил очень внушительно. — И некоторые стуки производят прямо-таки потрясающее впечатление. Вот послушайте-ка!

Раздался стук — казалось, между Льюишэмом и Чэффери.

— А? Что вы скажете?

Печная дверца хлопнула и отворилась, — Льюишэм увидел горящий огонь; стол сдвинулся и затрещал, как петарда, под самым носом у Льюишэма.

— Видели? — сказал Чэффери, кладя руки назад под фалды сюртука. Тотчас же комната наполнилась треском, как будто невидимые духи со всех сторон щелкали пальцами, потешаясь над Льюишэмом.

— Очень хорошо! Теперь возьмем другую сторону. Возьмем самое серьезное испытание, какому я когда-либо был подвергнут. Два почтенных преподавателя физики — не Ньютоны, вы понимаете, но хорошие, почтенные профессора, полные веры в себя и собственного достоинства; затем — дама, ищущая доказательств существования загробной жизни, и журналист, ищущий материала для статьи — т. е., иными словами, лицо, для которого такие опыты — источник заработка, точно так же, как и для меня, — вся эта компания взялась подвергнуть испытанию меня. *Меня!*.. Само собой, у каждого из них было, помимо этого, свое другое дело — преподавание физики, проповедывание религии, организация опытов и прочее. Никто из них не уделял и часа в течение дня на то, чтобы проникнуть мысленно в тайны моего искусства; большинство из них во всю свою жизнь никого не обмануло; ни один не сумел бы, например, даже под страхом смерти, хотя бы три мили проехать по железной дороге без билета — и не попасться. Ну-с — вы понимаете, на чьей стороне все шансы?

Он помолчал. В Льюишэме, повидимому, происходила какая-то внутренняя борьба.

— Вы знаете, — продолжал объяснять Чэффери, — вы поймали меня случайно — совершенно случайно. Эта штука выскользнула у меня изо рта. Иначе вашему приятелю, с таким крикливым голосом, не удалось бы взять верх надо мною. Не удалось бы!

Льюишэм возразил с усилием, словно подымая тяжесть:

— Ведь речь, собственно, не об этом. Я не сомневаюсь в вашем искусстве. Но все же это — нехорошо.

— Погодите. Сейчас дойдем и до этого.

— Мы, очевидно, смотрим на вещи с разных точек зрения.

— Несомненно. В том-то и дело. Это-то и желательно выяснить.

— Обман остается обманом. От этого вам не уйти. Это, кажется, достаточно ясно.

— Погодите, дайте мне досказать, — со вкусом протянул Чэффери. — Вам, разумеется, необходимо выяснить мое положение. Это не значит, чтобы для меня оно не было выяснено. С тех пор, как я прочел ваше письмо, я все время думаю об этом. Поистине — есть в чем оправдываться! В известном смысле можно сказать, что у меня своя миссия. Я — нечто в роде пророка. Но вы все еще ничего не понимаете.

— И не желаю понимать, чорт побери! — протестовал Льюишэм.

— А! Вы молоды и незрелы. Милейший юноша, вы только еще начинаете жить. Вы, право, должны допустить, что у людей, которые вдвое старше вас, могут быть несколько более широкие взгляды. Но вот и ужин. На время ужина, по крайней мере, давайте заключим перемирие.

Этель снова вошла, неся добавочный стул; за нею шла м-сс Чэффери с кувшином легкого светлого пива. Усевшись за стол, Льюишэм заметил, что на скатерти было немало незаштопанных дыр и пятен. Посредине стола красовался металлический потускневший судок с уксусом, перцем, горчицей и тремя загадочными бутылочками — пустыми. Хлеб лежал на большой доске с вырезанным на ней благочестивым изречением, а на непропорционально маленькой тарелочке — высилась целая гора сыру. М-р и м-сс Льюишэм уселись друг против друга; м-сс Чэффери поместилась на сломанном стуле: только она одна умела сидеть на этом стуле, не падая.

— Этот сыр питателен, привлекателен и удобоварим, как наука, — заметил Чэффери, нарезывая и раздавая ломти. — Но разомните его — вот так — вилок, прибавьте кусочек этого прекрасного дорсетского масла, немного горчицы, перцу — перец необходим — полейте слегка уксусом и перемешайте все вместе. Получится нечто такое, что можно кушать не без приятности. Так мудрый поступает с фактами жизни, не принимая и не отвергая, но согласуя их.

— Как будто перец и горчица не факты, — возразил Льюишэм, в первый раз за весь вечер позволив себе сострить.

Чэффери согласился, что его собственное сравнение было неудачно, и наговорил Льюишэму столько комплиментов по поводу его остроумия, что тот не мог удержаться, чтобы не бросить через стол торжествующего взгляда на Этель. Но тотчас же вслед затем он припомнил, что Чэффери — ловкий плут, от которого лучше получить порицание, чем похвалу.

Чэффери занялся сыром, и разговор шел вяло. М-сс Чэффери предлагала Этели официальные вопросы относительно ее квартиры; Этель отзывалась о квартире в самых восторженных выражениях.

— Приходите как-нибудь пить чай, — пригласила она, не дожидаясь санкции Льюишэма, — вот и увидите.

Чэффери очень удивил Льюишэма, неожиданно обнаружив полное знакомство с его материальным положением в Южно-Кенсингтонской школе, как учителя, дополняющего свое образование.

— У вас должны быть еще деньги, помимо казенной гинеи? — поставил он вопрос ребром.

Льюишэм покраснел.

— Для того, чтобы прожить, достаточно.

— И вы рассчитываете, что дирекция школы что-нибудь делает для вас, когда вы кончите курс? Так, местечко на сотню фунтов в год?

— Да-да, — неохотно ответил Льюишэм. — Да. Фунтов на сто в год, или около того. Что-нибудь в этом роде. Разумеется, мест найдется сколько угодно и помимо Южного Кенсингтона, если б они даже и не захотели предоставить мне место.

— Я понимаю. Но все же вам придется порядком сократиться, чтобы жить на сто фунтов в год. Ну что ж, немало достойных людей обходится меньшим.

Он умолк, как бы углубившись в размышление, и, немного погодя, попросил Льюишэма передать пиво.

— У вас жива мать, м-р Льюишэм? — неожиданно обратилась к нему м-сс Чэффери и продолжала спрашивать по порядку обо всех его родственниках. Когда он дошел до дяди-паяльщика, м-сс Чэффери ни с того, ни с сего вдруг приняла строгий вид и с важностью заметила, что в каждой семье есть бедные родственники. И после этих слов — важность ее исчезла туда же, откуда и появилась.

Кончился ужин. Чэффери вылил остатки пива в свой стакан, вытащил длиннейшую глиняную трубку и предложил Льюишэму покурить.

— Хорошее, честное курево... — заметил он, набивая свою. — В здешнем мире сигары — хорошие сигары — и честность совмещаются редко.

Льюишэм пошарил в кармане, отыскивая свои алжирские сигаретки. Чэффери неодобрительно покосился на них сквозь очки и вернулся к обещанной аполонии своей профессии. Дамы удалились, чтобы вымыть посуду.

— Вот видите ли, — после первой же затяжки начал Чэф-

фери, возвращаясь к прерванному разговору, — что касается шарлатанства — я не нахожу жизнь такой простой вещью, как вы.

— Я вовсе не нахожу, чтоб жизнь была проста, — возразил Льюишэм; — я только думаю, что нужно различать хорошее от дурного. И, сколько мне известно, вы ничем еще не доказали, что спиритический обман — правое и хорошее дело.

Чэффери заложил ногу за ногу.

— Давайте обсуждать этот вопрос — давайте обсуждать. Видите ли, молодой человек, — он затянулся дымом, — я думаю, что вы недостаточно высоко цените значение иллюзии в жизни, истинную природу лжи и обмана в политическом мире. Вы склонны порицать некоторую специальную форму обмана, ибо она еще не получила полного права гражданства, не считается почетной и — как свидетельствуют о том мои обтрепанные сзади брюки и наш скудный ужин — плохо вознаграждается.

— Не в том дело, — сказал Льюишэм.

— Ну-с, а я утверждаю, — продолжал Чэффери излагать свое сгедо, — что честность по существу своему есть сила анархическая и раз'единяющая и что сплочение людей в общество и прогресс цивилизации возможны только при помощи усиленной, иногда даже наглой лжи, что Общественный Договор — ни более, ни менее как обширный заговор всех человеческих существ между собою, заговор — лгать и обманывать себя самих и друг друга ради общего блага. Ложь — тот цемент, при помощи которого индивидуум в диком состоянии, одиночка, превращается в один из кирпичей общественного здания. Вот тезис, на котором я строю свое оправдание. Смеем вас уверить, что моя профессия медиума только частный пример, доказывающий справедливость общего правила. Не будь я по натуре беспокойным человеком, искателем приключений, глубоко беспечным и питающим положительное отвращение к писанию, — я написал бы об этом большую книгу и приобрел бы на всю жизнь уважение всех глубокомыслящих шарлатанов в мире.

— Но как же вы докажете это!

— Как докажу! Здесь не надо и доказывать, достаточно указать. И теперь уже есть люди, — Бернард Шоу, Ибсен и подобные им, — отчасти постигшие эту истину и проповедующие новое евангелие. Что такое человек? Похоть и алчность, умеряемые страхом и неразумным тщеславием.

— С этим я не согласен.

— Согласитесь, когда будете постарше. Есть истины, до которых нужно дорасти. Что касается лжи — посмотрите, на чем стоит общество, чем отличается цивилизованный человек от дикаря. Единственная существенная разница — та, что первый не умеет

лукавить и показывать вещи иными, чем они есть, а второй — умеет. Возьмем самый наглядный пример — одежду цивилизованного человека, изобретенную им в интересах благопристойности. Что такое собственно одежда? Утаивание существенных фактов. Что такое приличия? Подавление естественных желаний. Поймите, я не восстаю против приличия и благопристойности; я только указываю на то обстоятельство, что эти неизбежные спутники цивилизации, по существу своему, «являются сокрытием истины, *«suppressio veri»*. А в карманах своего платья цивилизованный человек носит деньги. У настоящего дикаря денег нет. Для него кусочек металла и есть кусочек металла, пожалуй, годный для того, чтобы служить украшением — не более. И этот взгляд правильный. Всякий здравомыслящий человек судит так же — и если поступает иначе, то лишь потому, что видит великую глупость окружающих. Но в глазах обыкновенного цивилизованного человека повсеместная ценность золота, как единицы меры, есть нечто священное и не подлежащее сомнению. Подумайте только, как это нелепо! И почему это так? Но тут не существует «почему». Я всю свою жизнь не перестаю дивиться легковерию моих близких. Нередко по утрам я лежу в постели и думаю: а что, если люди за ночь открыли обман? И жду — вот-вот раздадутся шаги на лестнице и вбежит ваша *belle-mère* с шиллингом в руке, — с шиллингом, которого не захотел взять молочник. «Как? Что такое? Эту дрянь взамен молока?» Но этого никогда не бывает. Никогда. Если бы люди вдруг прозрели относительность этого надувательства — относительно денег, знаете, что бы было? Сказалась бы истинная природа человека. Я мигом вскочил бы с постели, схватил бы первое попавшееся оружие и кинулся бы вслед за молочником. Приятно понежиться в постели, но молоко необходимо. Соседи высыпали бы на улицу — тоже за молоком. Молочник, неожиданно просветившийся насчет ничтожества денег, удирал бы со всех ног вдоль по улице, а мы за ним: — «Лови! Хватай! Держи его! Стой!» Тележка перевернулась. Деритесь, сколько хотите, но, чур, не проливать молока! Вы представляете себе эту сцену? — в ней все разумно, от начала до конца. Я вернулся бы домой помятый, в крови, но с кувшином под мышкой. Да — я захватил бы кувшин — уж я бы не прозевал... Но к чему продолжать? Вам, больше, чем кому бы то ни было, следовало бы знать, что жизнь — борьба за существование, борьба из-за куска хлеба. А деньги — ложь, умеряющая нашу ярость.

— Нет, нет! — вскричал Льюишэм, — я, не могу с этим согласиться!

— Что же такое по вашему деньги?

Льюишэм уклонился от прямого ответа.

— Договаривайте сначала вы, — сказал он. — Я пока не вижу, что во всем этом общего с плутовством во время сеанса.

— Я же строю на этом свою защиту. Возьмем человека почтенного и требующего к себе почтения — скажем, епископа.

— Ну, — сказал Льюишэм, — я не очень-то уважаю епископов.

— Это все равно. Возьмем другой пример — ученого профессора. Обратите внимание на его костюм, делающий из него приличного гражданина и скрывающий тот факт, что это физически слабый, вырождающийся суб'ект, с вялыми мускулами, с большим животом. Вот вам уже первая ложь. На его брюках, мой мальчик, вы не увидите бахромы. Взгляните на его жиденькие волосы, приглаженные, подстриженные и безмолвно лгущие, что их обычная длина — полвершка, а пусть-ка он позволит волосам свободно расти? Это была бы картина: десяток-другой волосков пепельно-серого цвета, длиною в аршин — веют по ветру сзади этого почтенного ученого... Как выложено и выхолено его лицо. А во рту у него — новая ложь, в виде вставных зубов. А где-то на земле бедняки работают для того, чтобы добыть этому суб'екту мясо, и хлеб, и вино. Его одежда соткана из жизней гнущихся в три погибели над работой ткачей, весь его путь устлан человеческими жизнями... Вы только представьте себе этого большеголового франта, утопающего в комфорте! И подумать, выражаясь словами Свифта, что этакая устрица еще гордится собой! Он воображает, что его собственные крохотные открытия с лихвою вознаграждают тех невидимых тружеников за их труд и страдания, воображает, что он и его паразитическая карьера с избытком искупают их загубленную жизнь, их подавленные желания. Представьте себе — он бранит своего садовника за плохо пересаженную герань: какой густой туман лжи должен окутывать этих обоих людей для того, чтобы дюжий парень-садовник одним ударом лопаты не положил конец дерзостям почтенного профессора, не превратил его в прах, из которого он произошел! И так же точно живут все комфортабельно обставленные люди. Вся эта утонченная вежливость, хорошее воспитание, культура — ложь, и останутся позорною ложью до тех пор, пока на земле хоть один несчастный оборванец будет ходить в отрепьях и голодать!

— Но это социализм! — воскликнул Льюишэм. — Я...

— Не нужно *измов*! — возвысил Чэффери свой звучный голос. — Одна только горькая и страшная правда — та правда, что ут́ок и основа человеческого общества — ложь. Социализм не поможет, и никакой *изм* не поможет; так уж устроен мир.

— Я не согласен... — начал Льюишэм.

— С безнадежностью моей теории — да, потому что вы молды, но с правильностью изложения вы не можете не согласиться.

— Да — в известных пределах.

— Согласитесь, что самые почетные положения в этом мире запятнаны обманом, лежащим в основе нашего общественного строя. Не будь они запятнаны обманом, они не считались бы почетными. Взять даже ваше положение... Кто дал вам право жениться и заниматься интересными научными изысканиями, когда другие молодые люди гниют в рудниках?

— Я признаю...

— Вы не можете не признать. Итак, вот мой вывод. Раз все дороги жизни загрязнены обманом, раз жить по правде и говорить правду выше человеческих сил и мужества, — это известно каждому — так не лучше ли для человека избрать такой путь, где ему придется жить непосредственно обманом? Не лучше ли жить таким обманом, сравнительно невинным, чем рисковать своей душевной чистотой и ставить себя в двусмысленное положение? Не лучше ли это, чем впасть в конце концов в самообман и самооправдание? Вот где опасность! Вот против чего я всегда настороже. Берегитесь этого! Стремление оправдать себя — тягчайший грех.

Льюишэм дергал себя за усы.

— Вы начинаете понимать меня? И, в сущности, эти достойные люди вовсе не так уж страдают от моего плутовства. Не я возьму обманом их деньги — так возьмет кто-нибудь другой. Их самодовольная уверенность в своем уме и познаниях может породить и более гнусный обман, чем мои искусственные шуки. Сколько у нас неверующих епископов, которые проделывают то же — чем я хуже их? Не все ли равно: отдавать деньги мне или тратить их на общественную благотворительность, чтобы кормить блудных сынов и отъевшихся секретарей? В сущности, я нечто в роде новейшего разбойника Робина Гуда — я беру подать с богатых, соответственно их доходу. Правда, я не отдаю взятого бедным, потому что я не получаю достаточно; но есть другие виды добрых дел. Мало ли слабых духом я успокоил ложью — грубой и глупой ложью — относительно жизни за гробом! Сравните меня с одним из негодяев, ради которых люди отравляются фосфорным и свинцовым ядом — сравните меня с миллионером, который шляется по казино, выискивая хорошеньких певичек — или со страховым агентом — или с обыкновеннейшим биржевым маклером — или, наконец, с адвокатом...

— Есть епископы, — продолжал Чэффери, — которые верят в Дарвина и не верят в Моисея. Как хотите, а я считаю себя лучше их — быть может, я похож на них, — но я — лучше. Я, по крайней мере, сам изобретаю некоторые из фокусов, проделываемых мною, — додумываюсь своим умом.

— Все это прекрасно... — начал Льюишэм.

— Я могу простить им нечестность, — продолжал Чэффери, — но простить эту глупость, это отречение от всякой умственной инициативы... Бог мой! Если стряпчий плутует не по шаблону, не с убогой помпой, как принято, — его исключают из сословия за недобропорядочное поведение.

Он умолк и задумался, потом слабо улыбнулся и повернулся к Льюишэму. Глаза его улыбались поверх очков; он изменил голос и подчеркивал слова, выразительно ударяя рукой по скатерти.

— А все же, некоторые из моих фокусов чертовски ловко придуманы — чертовски ловко, говорю я вам, и стоят вдвое больше, чем сколько я получил за них — вдвое.

Он опять повернулся к огню, раздувая погасшую трубку и поглядывая на Льюишэма поверх очков.

— Две-три штуки я придумал таких, что даже сам Маскелин ¹⁾ пальчики оближет. Эта шарманка — просто лопнет от удивления. Я положительно должен объяснить вам некоторые фокусы, раз мы уже породнились.

Льюишэму не сразу удалось выровнять фронт своих мыслей, расстроенный этой безостановочной погоней за быстролетными аргументами Чэффери.

— Но с такими принципами можно делать почти все, что вздумается!

— Вот именно!

— Но...

— Станный метод — исследуя чьи-нибудь принципы, судить о вытекающих из них поступках на основании других принципов! Вы не находите этого странным?

Подумав минутку, Льюишэм ответил: «Пожалуй» — тоном человека, убежденного против воли.

Он сознавал, что его логика неубедительна, и вдруг решил отбросить всякую деликатность, неуместную в подобном споре. Ему припомнились несколько сентенций, приготовленных им заранее, и он поспешил выложить их.

— Как бы там ни было, я не могу одобрить такого обмана. Что бы вы там ни говорили, я остаюсь при том, что высказано мною в письме. Этель отныне не будет иметь ничего общего с вашими проделками. Я не сверну с дороги ради того, чтобы изобличить вас, но если вы станете у меня на дороге, я, не стесняясь, выскажу свое мнение обо всех этих «спиритических велениях». Это лучше всего выяснить раз навсегда.

— Это уже выяснено и принято к сведению, мой милейший beau-fils. В данный момент мы ведем спор не об этом.

¹⁾ Известный лондонский фокусник.

— Но Этель...

— Этель ваша. Этель *ваша*, — повторил Чэффери немного погодя и задумчиво прибавил: — Она при вас и останется.

— Но возвратимся к иллюзии, — продолжал он со вздохом облегчения и стряхнул пепел с трубки. — Я иногда думаю вместе с епископом Берклеем, что всякий опыт есть нечто, по всей вероятности, совершенно отличное от действительности, а сознание, по существу, — галлюцинация. Я, и вы, и наш разговор — все это иллюзия. Пусть ваша наука вам скажет — что я такое? Собрание атомов, бесконечная игра клеточек. Что такое эта рука, которую я протягиваю к вам, — я сам, или нет? А голова? А поверхность моей кожи? Представляет ли она нечто большее, чем простую, ограничивающую поверхность? Вы говорите, что я — это моя душа? Но посмотрите же, какая борьба стремлений происходит в этой душе. Представьте себе, что у меня является импульс, которому я противлюсь — я противлюсь — значит, импульс *вне* меня — так? Но предположим, что импульс взял верх, и я делаю то, что мне хочется — значит, этот импульс уже часть *меня*? Как же так? А! У меня ум мутится от всех этих тайн. Боже! Что за жалкое, неустойчивое создание человек! То ему хочется одного, то другого; подумал, потянуло его куда-нибудь, сделал и забыл, — и тем не менее всегда страшно самонадеян и самоуверен. Вот хоть бы вы, например — вы и думать-то выучились всего каких-нибудь пять-шесть лет назад, а сидите, полный веры в логичность своих доводов, во всем своем унаследованном первородном грехе — и судите, и осуждаете. *Вы умеете различать добро и зло! Милый мой, Адам и Ева тоже умели... как только познакомились с отцом Лжи.*

В конце вечера подали виски и горячую воду. Чэффери, очень развеселившийся, уверял, что ему редко чье-нибудь общество доставляло столько удовольствия, как общество Льюишэма, и требовал, чтобы все выпили виски. М-сс Чэффери и Этель прибавили сахара и лимона. Льюишэм в первую минуту немного удивился, когда увидел, что Этель пьет грог.

На прощание м-сс Чэффери опять расцеловала Льюишэма и сказала Этели, что теперь она окончательно поверила, что все вышло к лучшему.

На обратном пути Льюишэм был задумчив и озабочен. Проблема относительно Чэффери разрослась до гигантских размеров. Временами даже сделанный этим чудаком с самого себя философский этюд, не лишенный юмора и художественности, казался правдоподобным. Легюн, несомненно, осел, и психические исследования, в том роде, в каком он их продельывает, неизбежно порождают

шарлатанство. Это понятно. Тут Льюишэм вспомнил, какое все это имело отношение к Этели...

— Твоего вотчима довольно трудно поймать, моя дорогая, — говорил он, сидя на постели и снимая сапог. — Он хитер. — Он дьявольски хитер. Он так говорит, что не знаешь, к чему придраться. У меня даже в ушах звенит, до того он закидал меня словами.

Льюишэм подумал немного, потом снял сапог и продолжал сидеть, держа сапог на колене.

— Разумеется — все, что он говорил, неверно — совершенно неверно! Что он там ни говори, правда остается правдой, а обман — обманом.

— Вот и я думаю то же, — сказал Этель, смотрясь в зеркало. — Мне это представляется именно так.

КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ

В следующую субботу Льюишэм первый вышел из спальни, отделенной от гостиной створчатой дверью, и через минуту снова появился в спальне, держа в руках какой-то листок. М-сс Льюишэм застыла с юбкой в руке, изумившись сама при виде изумления, начертанного на лице ее мужа.

— Послушай-ка! — сказал Льюишэм, — взгляни-ка сюда!

Этель заглянула в книжку, которую Льюишэм держал раскрытой перед ней, и увидала: длинный столбец цифр с одной стороны — и длинный ряд записей на неудобочитаемом смещении английского с немецким — с другой. «*1 котел угля 6 л.*» — эта строчка постоянно повторялась в этом внушительном списке и стояла последней, венчая собою все здание. То был первый счет мадам Гадов. Этель взяла его из рук мужа, чтобы посмотреть на него вблизи, — но и вблизи итог не сделался меньше. Везде надбавки и приписки — это было прямо-таки скандально. Теперь им уже не казалось смешно, что немка говорила: «котел» — вместо «корзина». Даже странно, до чего быстро испарился комизм этого выражения.

Этот документ положил конец необычно короткому медовому месяцу Льюишэма. Как в сказке о великоленном принце Гуперте: капля — и червонцы рассыпались прахом. Целую неделю Льюишэм жил в блаженном убеждении, что жизнь соткана из любви и тайны; теперь ему напомнили с необычайной ясностью, что жизнь складывается из борьбы за существование и желания жить. «Проклятая мошенница!» — сердито пробормотал м-р Льюишэм, и за завтраком все время велись какие-то новые и зловещие речи, — почти гневные, с одной стороны, и полные некоторого изумления — с другой.

— Надо будет поговорить с ней сегодня после обеда, — сказал Льюишэм, взглянув на часы, и поспешил сложить свои книги в клеенчатый черный портфель. В этот день в первый раз поцелуй Льюишэма при расставании с Этелью — не был специальной и самодовлеющей церемонией. Он поцеловал ее торопливо, словно по при-

вычке, и, выйдя, хлопнул за собой дверь. Этель в это утро не пошла провожать его: по специальной просьбе мужа и потому, что ей и самой хотелось помочь ему — она собиралась переписать какие-то лекции по ботанике, в которой Льюишэм сильно отстал.

По пути в школу — Льюишэм испытывал нечто, подозрительно близкое к упадку духа. Соображения, заботившие его, были, по существу, математического свойства. Мысль, занимавшая его ум настолько, что она исключала все другие мысли, всего лучше может быть выражена в общепринятой деловой форме.

ДЕБЕТ				КРЕДИТ			
Наличных денег.				ф. ш. п.			
ф.	ш.	п.		ф.	ш.	п.	
у м-ра Л.	13	10	4 1/2	За проезд в омнибусе в Южн. Кенсингтон (по случаю опоздания)			2
у м-рисс Л.		11	7	6 завтраков в студенч. столов.	5		2 1/2
В банке	45	0	0	2 пачки сигареток (курить после обеда)			6
Из школы получено	1	1	11 1/2	Женитьба и побег	4	18	10
				Необходимые добавления к приданому невесты		16	1
				Расходы на хозяйство	1	1	4
				Разные мелочи, приобретенные хозяйкой		15	3
				Мадам Гадов за квартиру, уголь и услуги (по счету)	1	15	0
				Неизвестно куда истрачено			4
				Баланс	50	11	2 1/2
				Итого	60	3	11
	60	3	11				

Из этой росписи самому неделовому человеку станет очевидно, что, не считая чрезвычайных трат на женитьбу и приобретение «разных» мелочей, которые покупала Этель, — расход за эту неделю более чем на 2 фунта превысил доход; краткий экскурс в область арифметики показывает, что через двадцать пять недель в остатке будет нуль.

Но гинею в неделю Льюишэму предстоит получать не двадцать пять недель, а всего только пятнадцать, и, следовательно, из капитала придется брать каждую неделю уже не три гинеи, а больше, и значит — срок, в течение которого они могут жить на капитал, сократится до двадцати трех недель. Эти подробности, несомненно, утомительны и неприятны просвещенному читателю; представьте же себе, во сколько раз неприятнее они должны были быть м-ру Льюишэму, задумчиво шагающему по дороге в Школу. Вы поймете, почему он ускользнул из лаборатории и пробрался в читальню; вы поймете, почему Смизерс (сидевший в укромном уголке за работой по подготовке к экзамену на соискание «премии Форбса»), неожиданно взглянув в сторону Льюишэма — онемел от удивления: Льюишэм нагнулся над кипой текущих периодических

изданий, — там были Журнал Образования и Воспитания, Школьный Учитель, Наука и Искусство, Университетский Вестник, Природа, Athenaeum, Академия, Автор...

Смизерс видел, как его товарищ вытащил из кармана записную книжку и принялся что-то вписывать туда. Он незаметно подкрался к Льюишэму и, вынырнув откуда-то сбоку, огорошил Льюишэма вопросом: — «Вы что тут делаете?»

Слова эти были произнесены громким шопотом и сопровождались инквизиторским взглядом, брошенным на заметки Льюишэма. А когда Смизерс увидел, что Льюишэм внимательно изучает столбец объявлений — недоумение его еще более возросло.

— О, ничего, — кротко отвечал Льюишэм, как бы случайно закрывая ладонью раскрытую книжку. — А вы что изволите поделявать?

— Да ничего особенного, — отвечал Смизерс. — Так, болтался здесь. Вы не были в кружке в прошлую пятницу?

Он повернул стул, стал на него коленом, и, облокотясь, на спинку, принялся шопотом рассказывать о делах литературного кружка. Льюишэм слушал внимательно и отвечал коротко. Что ему до всех этих ребячеств! Смизерс вышел, ничего не добившись, в дверях встретился с Парксоном. Кстати сказать, Парксон, со времени прискорбного недоразумения, происшедшего между ним и Льюишэмом — с Льюишэмом не разговаривал. Парксон сделал большой крюк, чтобы, пробираясь к своему месту, не пройти мимо Льюишэма; усевшись, он поднял голову необычайно высоко и принял исполненный достоинства вид, чтобы показать, как оскорбительно для него присутствие Льюишэма.

Льюишэм наводил справки двоякого рода. Он искал способа увеличить как-нибудь свой еженедельный доход собственным заработком и вместе с тем желал изучить положение рынка по части переписки на пишущей машине. Что касается лично Льюишэма, то у него была смутная мысль, впоследствии оставленная, — что в марте месяце можно будет добыть какие-нибудь уроки в вечерних классах. Но в вечерних классах в Лондоне состав преподавателей с сентября по июль никогда не меняется — разве кто-нибудь умрет скоропостижно. Частные уроки еще больше улыбались Льюишэму — но предложений не попадалось. О своих собственных талантах у него было представление чисто ребяческое, иначе он не трагил бы понапрасну времени на то, чтобы подробно выписывать условия для занятия вакантного места профессора физики в Мельбурнском университете. Он отметил также предложение занять место редактора ежемесячного журнала, посвященного социальным вопросам. Льюишэм ничего не имел против этого, хотя издатель,

может быть, и имел бы. Было еще вакантное место куратора при музее Итонской коллегии.

Относительно переписки на машине — условия были менее разнообразны и более определены. В то время жестокая конкуренция полуобразованных элементов еще не успела понизить цену за переписку до невозможной платы — 10 пенсов за тысячу слов, и обычная плата за тысячу была 1 шиллинг 6 пенсов. Предположим, что Этель может написать в час тысячу слов и работать пять-шесть часов в день: очевидно, что она в состоянии вносить свою долю на расходы по хозяйству — и не малую долю — до 30 шиллингов в неделю. Естественно, что Льюишэм возгордился при этом открытии. Он не находил объявлений от автопов или драматургов с предложением переписки, но видел — в газетах публикуется множество адресов переписчиц. Очевидно, и Этели надо публиковаться. Можно будет прибавить: «специальность — научная фразеология», — мысленно сообразил Льюишэм. Он возвратился домой, окрыленный надеждой; записная книжка у него была полна заметок о вакантных местах; по дороге он истратил пять шиллингов на марки...

После обеда Льюишэм — несколько взволнованный — послал за хозяйкой. Мадам Гадов явилась тотчас же, приветливая и любезная — и, как всегда, бесконечно далекая от негодования, являющегося нормальным состоянием британской квартирной хозяйки. Она сыпала словами, жестикулировала и рассуждала весьма благородно, но, к несчастью, путала два языка и во всех затруднительных случаях прибегала к немецкому. Природная учтивость Льюишэма не позволяла ему произвести нападение по всему фронту военных действий между двумя мировыми языками. После получаса дружеских пререканий, немка согласилась сбросить со счета шесть пенсов, и обе стороны объявили себя удовлетворенными результатом.

Мадам Гадов оставалась спокойной до конца. М-р Льюишэм раскраснелся, волосы его немного спутались и уши порозовели, но он был доволен этой сбавкой в шесть пенсов: это было, во всяком случае, признанием справедливости его требований.

— Она, видимо, хотела испытать нас, — почти извиняющимся тоном обратился он к Этели. — Было абсолютно необходимо противопоставить ей твердость. Вряд ли у нас будут с ней еще неприятности в таком роде...

— А то, что она говорит об угле, конечно, справедливо.

Молодые супруги отправились прогуляться в Кенсингтонских садах и — весенний вечер был так тепел и хорош — присели отдохнуть на зеленых стульях недалеко от оркестра, за что Льюишэму пришлось потом заплатить два пенса. Тут они занялись тем, что

Этель называла «серьезным разговором». Этель проявила, поистине, редкую рассудительность и обсудила вопрос всесторонне. Она особенно настаивала на необходимости экономии в домашних расходах и горько сожалела о своем невежестве и непрактичности. Решено было купить хорошее руководство по части домашнего хозяйства — и Этель по секрету подзаймется этой наукой. М-сс Чэффери, по ее словам, пользовалась указаниями старинной книги, носившей название «Обо всем понемногу», но Льюишэм признавал эту книгу недостаточно научной.

Этель была того мнения, что многому можно также научиться из шестипенсовых модных журналов для дам — более дешевые в то время почти еще не появлялись. В былое время, когда у нее водились деньги, она покупала такие журналы отдельными номерами, но главным образом (об этом она теперь очень сожалела) — с целью посмотреть новые фасоны шляп и тому подобного вздора. Чем скорее они купят машину, тем лучше. Льюишэм поморщился от неприятной неожиданности, сообразив, что в своих вычислениях он не принял в расчет покупки машины. Это значительно ограничит их ресурсы; при таких условиях капитала хватит всего на двенадцать-тринадцать недель.

Целый вечер они провели за работой: составляли письма, переписывали, надписывали адреса, наклеивали марки. Было при этом пережито немало оптимистических минут.

— Мельбурн прекрасный горд, — говорил Льюишэм, — и путешествие туда будет для нас очень приятно...

Он прочел Этели вслух письмо, где предлагал себя в качестве кандидата на профессорское место в Мельбурн — прочел просто для того, чтобы посмотреть, хорошо ли написано это письмо — и на Этель перечисление его талантов и знаний произвело глубокое впечатление.

— Я не воображала, что ты знаешь и половину всего этого! — наивно воскликнула она, удрученная сознанием своего собственного изнежества. Неудивительно, что после такого поощрения Льюишэм стал писать дальнейшие письма в несколько самоуверенном тоне.

Составленная им публикация в Athenaeum относительно приема переписки несколько смущала его совесть. Переписав начисто эту публикацию и поставив в скобках, но большими буквами: «специальность — научная фразеология», — он случайно взглянул на лекции, переписанные Этелью для него. Почерк у нее был все такой же круглый, мальчишеский, как тогда в Уортлее, но знаки препинания ограничивались неправильно расставленными запятыми и тире, а в правописании трудных слов замечалась склонность идти по линии наименьшего сопротивления. Но Льюишэм решил, что не

стоит думать над этим: просто он будет просматривать и корректировать все, что будет переписывать Этель. В скобках он думал, что не худо бы ему самому просмотреть какое-нибудь толковое руководство к расстановке знаков препинания.

Они засиделись за полночь, несмотря на то, что на завтра назначен был экзамен ботаники. Их маленькая гостиная была освещена газом, занавеси спущены, в камине пылал огонь. Было так светло и уютно, а количество приготовленных к отправке писем — еще больше поддерживало надежду в их сердцах. Этель, раскрасневшаяся от радостного волнения, то порхала по комнате, то подбегала к мужу и склонялась к нему на плечо, чтобы посмотреть, что он пишет. По просьбе Льюишэма она принесла ему конверты, лежавшие в комоде.

— Ты настоящая жена-помощница! — сказал Льюишэм, откидываясь на спинку стула. — Я чувствую, что для такой девушки я сделаю все — все на свете!

— *В самом деле? Серьезно? Я помогаю тебе?* — воскликнула Этель.

Лицо и жест Льюишэма выразили энергическое подтверждение. Этель тихонько вскрикнула от восторга, постояла минуту и, как бы желая выразить на практике свое полное желание и готовность помочь, обежала кругом стола с протянутыми руками.

— Милый мой!

Льюишэм, уже заключенный в объятия, незанятой рукой отодвинул стул, чтобы Этель могла сесть к нему на колени...

Кто мог бы усомниться в том, что она помогала ему?

ПЕРВАЯ БИТВА

Поиски Льюишэма относительно вечерних занятий и частных уроков были, по существу, только временной мерой. Старания же упрочить за собой более постоянный источник дохода обнаруживали в нем претензии, не соответствующие его данным. Место профессора в Мельбурне — конечно, было выше научных заслуг Льюишэма; многое также могло помешать ему занять должность преподавателя в Итонской Коллегии. Вначале он был склонен считать южно-кенсингтонских студентов интеллектуальной солью земли, преувеличивать обилие «приличных мест», с жалованьем от полутора до трехсот фунтов в год, и презирать конкуренцию таких низшего разряда учреждений, как университеты Оксфордский и Кембриджский и учебные заведения на севере Англии. Но агенты по приисканию преподавательских мест, к которым Льюишэм обратился в следующую субботу, очень скоро разочаровали его.

Главный ассистент м-ра Блендершипа — в маленькой грязной конторе на Оксфорд-Стрит — объяснил положение вещей в таких энергичных выражениях, что Льюишэм даже рассердился.

— Вы, может быть, желаете место директора в государственной школе? — ядовито осведомился ассистент м-ра Блендершипа. Боже мой! Почему бы уж не сделать вас прямо епископом? Слышите? — обратился он к своему патрону, только что вошедшему с сигарой в зубах. — Двадцать один год, — ни ученой степени, ни знания игр, два года практики в качестве младшего классного наставника — и желает получить место директора в государственной школе!

Он говорил так громко, что другие клиенты, ожидавшие в приемной, не могли не услышать, и вдобавок, при каждом слове, он тыкал пером в сторону Льюишэма.

— Послушайте! — запальчиво возразил Льюишэм, — если б я знал условия рынка, я не обратился бы к вам.

М-р Блендершип с минуту разглядывал Льюишэма, потом спросил ассистента:

— Какие у него аттестаты?

Тот прочет список баллов за успехи в разных *логиях и графиях*.

— Пятьдесят, на всем готовом, — решительно объявил м-р Блендершип; — вот на что вы можете рассчитывать. Если повезет — шестьдесят.

— *Что-о?* — вскричал м-р Льюишэм.

— Вам этого недостаточно?

— Слишком недостаточно.

— За восемьдесят можно иметь кембриджа с ученою степенью — и еще благодарен будет.

— Но я не хочу места интерна.

— Мест приходящих наставников очень мало. Чрезвычайно мало. Нужен надзор за воспитанниками в дортуарах; и притом с экстернами опасно: вдруг они вздумают ветреничать где-нибудь на стороне.

— Вы уж не женаты ли, чего доброго? — вдруг спросил ассистент, внимательно взглядевшись в лицо Льюишэма.

— Т-то есть... — так сказать... Да, женат.

Ассистент выругался себе под нос непечатным словом.

— Господи! И женат... Это вам придется скрывать, — сказал м-р Блендершип. — Трудненько вам будет сыскать местечко — трудненько! Я бы на вашем месте подождал до диплома, благо уж немного осталось. С дипломом — оно легче...

Пауза.

— Дело в том, — тихо выговорил Льюишэм, глядя на носки своих сапог, — что мне нужно делать что-нибудь именно теперь — чтобы дожидаться диплома.

Ассистент тихонько присвистнул.

— Может, и наклонится какое-нибудь местечко экстерна, — раздумчиво молвил м-р Блендершип, что-то соображая. — Прочитайте-ка мне еще раз, что тут написано в листке, Бинкс. — Он слушал внимательно. — Э! Что такое? Против религиозного обучения? — он жестом остановил читавшего. — Это вздор. Нельзя, знаете, требовать, чтобы все было по-вашему. Вычеркните это. Вы не получите места ни в одной из средних школ в Англии, если вы против религиозного обучения. Маменьки — чорт возьми — просто с'ели бы вас. Вы лучше и не заикайтесь об этом. Не верьте — кто нынче верит? Сотни таких, как вы, — сотни! Священники, — все! Но говорить об этом нельзя.

— А если спросят?

— Скажите: англиканской церкви. У нас всякий, кто не диссидент, принадлежит к англиканской церкви. Без этого вам очень трудно будет получить какое бы то ни было место.

— Но... — начал м-р Льюишэм, — это будет ложь.

— Вполне законная. Это всякий поймет. Если вы на это, милейший юноша, не согласны, мы ничего не можем сделать для вас. Остается журналистика или лондонские доки. Принимая в расчет вашу малую опытность, скажем — доки.

Льюишэм покраснел пятнами и не ответил. Он усиленно щипал и дергал себя за усы — увы! далеко еще не густые.

— Компромиссы, молодой человек, компромиссы! — вздохнул м-р Блендершип, участливо наблюдая за ним, — без этого никак невозможно.

— В первый раз в жизни Льюишэм очутился лицом к лицу с необходимостью произнести сознательную ложь. Он быстро соскользнул с суровых высот самоуважения по наклонной плоскости — и последующие слова его уже были недобросовестными.

— Я не обещаю вам, что солгу, если меня спросят. Этого я не могу обещать.

— Вычеркните этот пункт, — обратился Блендершип к клерку. — Вам об этом просто не надо упоминать. Затем: вы ничего не упоминаете о том, что можете учить рисованию.

— Да я и не могу, — сказал Льюишэм.

— Давайте им срисовывать переснятые копии и смотрите, чтобы они не увидали, как вы рисуете! — возразил Блендершип.

— Но ведь это не значит учить рисованию!

— У нас это понимается именно так. Не забивайте себе голову педантизмом — это погибель для преподавателя. Поставьте рисование. Затем — стенография...

— Ну вот еще! — воскликнул Льюишэм.

— Стенография, французский язык, бухгалтерия, коммерческая география, геодезия...

— Но я не могу преподавать ни одного из этих предметов.

— Послушайте, — начал Блендершип и сделал эффектную паузу. — У вас, или у вашей жены есть состояние?

— Нет! — отвечал Льюишэм.

— Ну?

Новая пауза — и падение еще на одну ступень ниже — и тут жестокий ушиб.

— Но ведь меня поймают, — сказал Льюишэм.

Блендершип улыбнулся.

— Здесь, знаете, требуется не столько знание предмета, сколько готовность учить. А начальство вас не поймает, будьте благонадежны. Те заведующие школами, с которыми мы обыкновенно имеем дело, не способны уличить. Они сами не могут преподавать ни одного предмета — и потому думают, что и никто другой этого не может. Вы будете говорить с ними о педагогике, они будут говорить о практическом опыте. Но в программе заведения все

эти предметы перечислены, а потому они желают, чтобы это стояло и в расписании. Некоторые из этих предметов... Взять, например, коммерческую географию. Что такое коммерческая география?

— Морской укроп, — сказал ассистент, грызя кончик пера, и задумчиво прибавил: — И чорт его знает, что еще.

— Чепуха! — объявил Блендершип. — Сушая чепуха! Газеты болтают вздор о коммерческом образовании. Герцог Девонширский начитался газет — и тоже принялся болтать, уверяя, будто он сам это выдумал — очень ему надо! Родители рады придаться к случаю; заведующим пришлось включить это в программу, — ну, значит, и учителям полагается знать. Вот вам и вся недолга!

— Ладно! — сказал Льюишэм, чуть не захлебываясь от стыда. — Пишите все, что хотите. Только помните: мне надо такое место, чтобы мне не жить в пансионе, а быть приходящим.

— Ну, — сказал Блендершип, — может быть, аттестат вас и вывезет. Но я вас предупреждаю, что дело трудное. В какой-нибудь приготовительной школе, может, и найдется местечко. Ну, кажется, больше разговаривать не о чем. Запишите ваш адрес...

Ассистент опять присвистнул: нечто среднее между «фью» и «фи»¹⁾. Блендершип посмотрел на Льюишэма и неуверенно кивнул головой.

— За внесение в книгу — полкроны, — объявил ассистент. — На почтовые расходы — вперед полкроны.

Но Льюишэм помнил советы, преподанные ему Дэнкерлеем еще в Уортлейской школе. С минуту он колебался, потом объявил:

— Нет, вперед платить я не стану. Если вы достанете мне место, вы получите комиссионные; если нет...

— Мы потеряем, — подсказал ассистент.

— Так оно и следует. Здесь игра чистая.

— Жительство имеее в Лондоне? — осведомился Блендершип.

— Да, — сказал клерк.

— Хорошо. Почтовых расходов мы с вас не возьмем. Разумеется, теперь мертвый сезон, так что теперь — вы особенно не ждите. Бывают случаи, что к пасхе учителя меняют места. А больше ничего... Есть там еще кто-нибудь, Бинкс?

Гг. Маскелин, Смит и Трумс были агентами более высокого полета, чем Блендершип, ведавший частные учреждения низшего разряда и дешевые общественные школы. Гг. Маскелин, Смит и Трумс были о своем агентстве такого высокого мнения, что вначале даже отказались внести в свои списки Льюишэма, что, понятно, страшно его обозлило. Он добился интервью с неким молодым человеком:

¹⁾ Игра слов: «Fee» — по-английски значит: вознаграждение, плата; «Few» — звукоподражание свисту.

молодой человек этот был одет с обидной корректностью и соответственным образом выражался; он во все время беседы не сводил глаз с гуттаперчевого воротничка Льюишэма.

— Едва ли вы нам подойдете, — сказал он и подвинул к Льюишэму разграфленный листок, который нужно было заполнить. — Мы имеем дело по большей части с учебными заведениями высшего разряда и хорошими подготовительными школами.

Пока Льюишэм заполнял листок разными *логиями* и *графиями*, в комнату вошел молодой человек — вид у него был прямо герцогский, — и дружески поздоровался с корректным молодым человеком. Герцога-подобный молодой человек также желал получить место. Льюишэм, хоть и не поднимал головы от бумаги, успел разглядеть, что на его сопернике по профессии был длинный сюртук, лакированные сапоги и великолепнейшие серые панталоны. Понятия Льюишэма о конкуренции — сразу расширились. Корректный молодой человек глазами указал новоприбывшему на гуттаперчевый воротничок Льюишэма; тот, вместо ответа, пожал плечами и слегка скривил губы.

— Я получил ответ от этого суб'екта из Касльфорда, — приятным баритоном сообщил новоприбывший. — Что это за птица?

Пока они обсуждали достоинства и недостатки суб'екта из Касльфорда — Льюишэм подал свой листок, и корректный молодой человек, все еще не сводя глаз с гуттаперчевого воротничка, взял этот листок с таким видом, как-будто собирался перепрыгнуть через пропасть.

— Сомневаюсь, чтобы мы могли что-нибудь сделать для вас, — повторил он снова. — Может быть, найдется место преподавателя английского языка. Науке в *наших* школах, знаете ли, не придают особенного значения. Главное — классики и хорошее знание игр — вот, что нам нужно.

— Ага, — сказал Льюишэм.

— Хорошее знание игр, хорошие манеры и все прочее, знаете, в этом роде.

— Ага, — подтвердил Льюишэм.

— Вы не из народной ли школы? — осведомился корректный молодой человек.

— Нет, — отвечал Льюишэм.

— Где же вы изволили воспитываться?

Льюишэм вспыхнул.

— Это имеет значение? — спросил он, не отводя глаз от дивных серых панталон.

— Для *наших* школ — несомненно. Это, знаете ли, вопрос хорошего тона.

— Ага... — сказал Льюишэм, начиная соображать, как много новых препятствий встало у него на пути. Его непосредственным импульсом было поскорее уйти, чтобы не чувствовать на себе взгляда эlegantно одетого молодого учителя. — Полагаю, вы дадите знать, если у вас найдется что-нибудь для меня? — уже на ходу спросил Льюишэм корректного молодого человека. Тот поспешил ответить утвердительно и раскланяться.

— Часто у вас попадают такие суб'екты? — спросил изящно одетый молодой человек по уходе Льюишэма.

— Довольно часто. Только все-таки, знаете, сортом повыше. Этот резиновый воротничок! Вы заметили? Уф! И это его «ага». И эта хмурая физиономия, мешковатость! Само собой, приличного платья у него нет, он способен и на новое место явиться с одним тощим чемоданчиком. Но теперь такие господа — да еще надзиратели в пансионах — проникают всюду. Не далее как на-днях у меня был Роутон.

— Неужто Пиннерский Роутон?

— Да, из Пиннера. И потребовал, чтоб я рекомендовал ему кого-нибудь в этом роде. «Мне», говорит, «нужно такого, чтоб мог учить арифметике».

Он засмеялся. Изящно одетый молодой человек задумчиво разглядывал набалдашник своей трости.

— Такой суб'ект, — заметил он, — все равно там не уживется. Если он попадет в порядочную школу, его будут на каждом шагу резать приличные учителя.

— Ну, я думаю, такие господа слишком толстокожи, чтобы страдать от этого, — возразил агент. — Это новый тип. Южный Кенсингтон и политехникумы нынче выпускают их сотнями...

Раньше Льюишэм возмущался необходимостью заявлять о принадлежности к религии, от которой он был очень далек; теперь это новое открытие — что учителю надо быть прилично одетым — возмутило его еще больше. Идя дальше, он заглядывал в каждое окно, сколько-нибудь отражавшее его фигуру. Нет спора, его панталоны далеко не эlegantны; они прегнусно отгибаются вниз, у сапог, и висят мешком возле колен, а сапоги его не только изношены и безобразны, но вдобавок еще и прескверно вычищены. Рукава его пиджака слишком коротки, и кисти рук преглупо вылезают наружу; кроме того, Льюишэм заметил, что лацканы отогнуты очень несимметрично, а красный галстук плохо завязан и сбился на бок. И потом этот резиновый воротничок! Он весь лоснится, выцвел и вдруг ни с того, ни с сего стал липнуть к шее. Что, если б был приличный костюм? Льюишэм стал соображать, сколько может стоить полная экипировка. Такие серые панталоны, какие он видел сегодня, вряд ли можно купить дешевле, чем за шестнадцать шиллингов, да

сюртук будет стоить на худой конец сорок — а может и больше. Льюишэм знал, что хорошее платье стоит дорого. Пóстояв у дверей модного магазина, он вернулся назад. Нет, об этом и думать нечего. Он перешел через Лейстер-сквер и пошел дальше по Бэдфорд-Стрит, ненавидя всех, попадавших ему навстречу, хорошо одетых мужчин.

Гг. Данкс и Уимборн занимали контору в роде банкирской, возле Чэнсери-Лэн. Здесь Льюишэму, без всяких разговоров, подали листок для заполнения. На первом месте стояло: «Вероисповедание». Льюишэм подумал и написал: «Англиканской церкви».

Затем он отправился в Педагогический Колледж в Голборне. Педагогический Колледж предстал перед ним в лице длиннородого, плотного, добродушного господина, с тоненькой золотой цепочкой и пухлыми руками. У него были золотые очки и ласковое обращение, много способствовавшее исцелению раненой души Льюишэма. Господин в золотых очках сам занес в список все «*логи*» и «*графии*», любезно изумляясь их обилию.

— Вам бы следовало, — заметил он, — получить один из наших дипломов. Вам это было бы совсем не трудно. Конкурса нет. Но есть премии — несколько денежных премий.

Льюишэм не заметил, что его воротничок и здесь привлек внимание — на этот раз сочувственное.

— У нас читаются различные предметы; кроме того, мы экзаменуем по теории и практике воспитания. В здешних местах только при нашем Колледже и есть экзамены по теории и практике воспитания для преподавателей в средних и высших учебных заведениях. И так мало желающих экзаменоваться! Все больше гувернантки. Мужчины предпочитают воспитание с помощью кулака. Это характерно для Англии — царство кулака в педагогике. Говорить об этом, разумеется, бесполезно, но так это не пройдет; что-нибудь случится — и что-нибудь неприятное — если и впредь будет продолжаться так. В Америке школьное дело поставлено гораздо лучше, — и в Германии тоже. Я говорю это, конечно, только вам, вообще об этом говорить не годится. Тут многое надо принять в расчет. Хотя... А вы все-таки хорошо бы сделали, если бы получили у нас диплом; это сделаю бы из вас настоящего педагога. Впрочем, это уж я заглядываю вперед.

Он засмеялся, как бы извиняясь за то, что у него есть маленькая слабость — заглядывать вперед. Затем, оставив отвлеченные темы, он перешел к подробностям относительно дипломов Колледжа и относительно шансов получить занятия.

— Есть, разумеется, частные уроки. Вы не отказались бы позаняться с отсталым? К нам обращаются иногда с просьбой реко-

мендовать приходящего учителя. По большей части, в школы для девочек. Но это, знаете, для людей постарше вас — для женатых.

— Я женат, — сказал Льюишэм.

— Э! Что такое? — удивился Педагогический Колледж.

— Я женат, — повторил Льюишэм.

— Удивительно! — с важностью произнес Педагогический Колледж, разглядывая Льюишэма сквозь золотые очки. — Удивительно! Я больше, чем вдвое, старше вас и не женат. Двадцать один год! Вы — вы давно женаты?

— Несколько недель.

— Поразительно! — продолжал Педагогический Колледж. — Весьма — весьма интересно! Да уж... Ваша супруга, должно быть, очень мужественная молодая особа... Извините меня! Знаете ли... Вам будет очень трудно завоевать себе положение. Впрочем — это, конечно, делает вас пригодным для преподавания в школах для девиц. Это да. До известной степени, это — так.

После признания насчет женитьбы — Педагогический Колледж, видимо, преисполнился уважения к Льюишэму, и тому это было чрезвычайно приятно. Но после посещений агентств Медицинского, Школьного и Клерикального, что у Уотерлооского моста, Льюишэм опять упал духом и решил итти домой. Еще задолго до конца пути он почувствовал усталость, и его простодушная гордость по поводу того, что он женат и ведет деятельную борьбу с несочувствующим ему миром, мало-по-малу, исчезла. Уступка, сделанная им в области религиозных вопросов, оставила в его душе едкую горечь; мысль о костюме была прямо-таки мучительна. Льюишэм еще не дошел до ясного и определенного сознания того факта, что его рыночная цена — не выше ста фунтов в год, но такое убеждение все больше укоренялось в его уме.

День был серенький, пасмурный; дул холодный ветер; в одном из сапог гвоздь вылез наружу и колол пятку, поневоле обращая на себя внимание Льюишэма. Неотвязно, назойливо вспоминались последние промахи и неудачные ответы на экзамене ботаники, о которых Льюишэм все это время старался не думать. В первый раз со времени женитьбы его охватило предчувствие неудачи.

Придя домой, Льюишэм хотел сразу усестись в маленькое скрипучее кресло у камина, но Этель помешала. Она выскочила из-за стола, на котором стояла только-что купленная пишущая машинка, и кинулась с распростертыми объятиями, восклицая:

— О, как я соскучилась без тебя!

Он пропустил мимо ушей заключавшийся в этом возгласе комплимент.

— Мне было не так уж весело, чтобы ты могла жаловаться на скуку, — возразил он новым для Этели тоном. Он высвободился

из ее объятий и сел. Потом, заметив выражение ее лица, сказал, в виде извинения:

— Я немножко устал. И этот проклятый гвоздь в сапоге! Надо будет его забить. Утомительная история шляться по этим агентам, но все же лучше было повидать их. Ну, а ты как себя чувствуешь?

— Я — ничего, — поглядела на него Этель. — Но ты действительно устал. Мы напьемся чаю. И — позволь мне снять с тебя сапог, милый? Да, да, я сниму.

Она позвонила, выбежала из комнаты, крикнула сверху, чтобы дали чаю. Затем притащила из спальни невзрачный коврик и принялась расшнуровывать сапог. Настроение духа у Льюишэма сразу изменилось.

— Молодчина ты у меня, Этель! — объявил он. — Ей богу, молодчина! — Когда один сапог был снят, он наклонился и поцеловал ее в ушко. Она бросила расшнуровывать другой сапог и начались взаимные нежности....

Через десять минут Льюишэм сидел уже в туфлях, с чашкой чаю в руке, а Этель прикурнула на коврике у его ног, — свет от камина падал ей прямо в лицо, — и рассказывала ему, что сегодня она получила ответ на свою публикацию в *Athenaeum*'e.

— Хорошо, что получила, — сказал Льюишэм.

— От романиста, — с некоторою гордостью пояснила Этель, показывая письмо. — Лука Гольдернесс, автор «В огне Греха» и других романов.

— Клиент первый сорт, — не без зависти заметил Льюишэм, наклоняясь вперед, чтобы при свете камина прочесть письмо.

Оно было написано красивым круглым почерком и на хорошей бумаге, какую, надо полагать, употребляют романисты. — «Милостивая государыня», — говорилось в письме, — «я намерен прислать вам, заказным письмом, рукопись трехтомного романа. В нем около 900.000 слов, — но вы должны будете сосчитать их точно».

— Как же это сосчитать — я и не знаю, — озабоченно заметила Этель.

— Ничего, я покажу тебе, — успокоил ее муж, — это совсем не трудно. Надо сосчитать слова на трех-четырех страницах, найти среднее и помножить.

... «Но, разумеется, прежде чем передать в ваши руки мое произведение, я должен иметь достаточные гарантии в том, что вы не злоупотребите моим доверием и что ваше исполнение окажется на надлежащей высоте».

— О! Это уж хуже!

... «А потому я должен просить вас представить мне рекомендации»...

— Чертовски неудобно! — вскричал Льюишэм. — Этот осел, Легион, наверное... Но что это?... «Или, в случае неимения таковых, залог»... Это, по-моему, разумное требование.

К тому же, требуемый залог был так невелик — всего одна гинея. Если бы даже Льюишэм отнесся и более подозрительно к письму романиста, оживление и радость Этели, стремящейся к самостоятельному труду, заставили бы его отбросить все сомнения.

— Пошлем ему чек — пусть видит, что у нас есть деньги в банке, — сказал Льюишэм; он еще так недавно положил деньги в банк, что не разучился гордиться этим. — Пошлем ему чек. Он совсем успокоится.

В тот же вечер, по отправлении чека на одну гинею, супруги получили еще одно утешительное известие от гг. Данкса и Уимборна, — прескверно литографированное оповещение о вакантных местах. Все это были места интернов, так что Льюишэм принять их не мог; тем не менее литографированный листок принес с собой бодрящую уверенность в том, что в мире нет застоя, что все движется и меняется, что в неприступной, как-будто, крепости мира — есть бреши и слабые места. Затем Льюишэм принялся пересматривать свои прошлогодние записки по зоологии, по временам отрываясь от дела, чтобы приласкать Этель. Теперь, когда ботаника не вывезла, оставалась одна надежда — на зоологию: может быть, она поможет получить медаль Фэрбса. Этель принесла из соседней комнаты свою лучшую шляпу, чтобы несколько изменить отделку. Она устроилась в маленьком кресле у камина, а Льюишэм, разложив перед собою бумаги и книги, присел к столу. Расположив по новому васильки, Этель взглянула на мужа и заметила, что он не читает, а смотрит, не отрываясь, в одну точку на скатерти, и что в глазах у него — какая-то необычная грусть. Этель засыла о васильках и пристально смотрела на Льюишэма.

— Голубчик... — сказала она после паузы.

Льюишэм вздрогнул и поднял голову.

— А? Что такое?

— Почему у тебя такой убитый вид?

— Разве у меня убитый вид?

— О, да! И злой!

— Я только-что думал, что я бы не прочь утопить или сварить в кипятке какого-нибудь епископа.

— Дорогой мой!

— Они отлично знают, что то, против чего они ополчаются — неверие — отнюдь не безумие и не греховность, и не приносит особенного вреда другим; отлично знают, что можно быть чистым, как ясный день, и правдивым — словом, порядочным человеком во всех отношениях — и не верить в то, что они проповедают. И

знают, что стоит только поступиться немного своей честью, чтобы притвориться верующим во что угодно. Во что угодно! Но они ни за что в этом не признаются. Они, кажется, рады были бы, если бы у всех людей притупилось понятие о чести и совести. Будь только человек богат — и они будут подличать и пресмыкаться перед ним без конца, хотя бы он смеялся надо всем, чему они учат. Они готовы принимать золотые сосуды на алтарь от мошенников и получать доходы с непотребных домов. Но если человек беден и не притворяется верующим в то, во что многие из них сами не верят, они пальцем не шевельнут, чтобы помочь ему бороться с невежеством их последователей. Относительно этого твой вотчим был совершенно прав. Они знают, как обстоит дело, знают, что большинство лжет и обманывает, но им это все равно. Да и может ли быть иначе? Они ведь успели убить в себе совесть. Они отбросили стыд — почему же нам не следовать их примеру!

Избрав епископов козлами отпущения за свой позор, Льюишэм так увлекся, что готов был приписать их проискам даже появление гвоздя в своем сапоге.

М-сс Льюишэм была, повидимому, изумлена. Она угадывала направление его мыслей.

— Неужели... — начала она и понизила голос: — Неужели ты — неверующий?

Льюишэм угрюмо кивнул головой.

— А ты?

— О нет!

— Но ты ведь не ходишь в церковь; ты не...

— Не хожу. И все-таки — я не неверующая.

— Так ты христианка?

— Я полагаю.

— Но христиане... Во что ты веришь?

— О! Говорить правду, поступать хорошо, не обижать других, не бредить им — и все такое.

— Это не значит быть христианином. Христианин тот, кто верит.

— А по-моему, именно это и значит быть христианином.

— О! В таком случае всякий человек — христианин. Все мы думаем, что хорошо поступать — хорошо, и что худо поступать — дурно.

— Но не все так делаем, — возразила м-сс Льюишэм, снова принимаясь за васьилки.

— Нет, — сказал Льюишэм, несколько сбивый с толку этой женской манерой спорить. — Не все так делают, разумеется.

С минуту он пристально глядел на нее — она склонила голову немного на бок и соображала, хорошо ли приколот букет; все

мысли Льюишэма были заняты этим новым открытием. Он как будто хотел что-то сказать, но раздумал и вернулся к своим заметкам.

Скоро он опять уже глядел, не отрываясь, в одну точку на ска-терти.

На следующий день м-р Лука Гольдернесс получил чек на гинею. Некоторое время он внимательно вглядывался в подпись и что-то соображал. Затем взял перо и чернила и осторожно переправил небрежно написанную Льюишэмом цифру 1 на 5, после чего тща-тельно занялся своим туалетом, чтобы придать своей наружности более благообразный и внушающий доверие вид.

Немного погодя, он вышел из дому: высокий, тощий; бледное, как у трупа, лицо, длинные черные волосы; полу-клерикальное одеяние, прискорбно порывевшее от времени. Он проявил в своих действиях большую осторожность и рассудительность. Чек он по-нес не прямо в банк, а сперва — бакалейщику, которому был дол-жен. Бакалейщик отнесся к чеку подозрительно.

— Снесите это в банк, если сомневаетесь, — сказал м-р Лука Гольдернесс, — пусть там разменяют. Я сам не знаю, что это за господин и кто он такой. Может быть, он и мошенник — почем я знаю. Я не могу отвечать за него. Снесите в банк и увидите. Я подожду. Я зайду через несколько дней.

— Все в порядке, не правда ли? — небрежно осведомился м-р Лука Гольдернесс, зайдя в бакалейную лавку два дня спустя.

— В полном порядке, сэр, — почтительно подтвердил бакалей-щик, подавая ему четыре фунта, тринадцать шиллингов и шесть пенсов.

М-р Лука Гольдернесс, перед тем необыкновенно внимательно разглядывавший разные деликатесы, разложенные на прилавке, вдруг оживился и купил банку консервов из лосося. Он вышел из лавки, зажимая остальные деньги в руке, так как карманы его платья были слишком стары, и на них полагаться было нельзя. По пути домой он купил свежую булку и, едва выйдя из булочной, откусил от этой булки большой кусок и все время жевал его на ходу. Кусок был так велик, что жующий рот м-ра Гольдернесса поми-нутно кривился, принимая самые безобразные формы. Он глотал с усилием, каждый раз при этом вытягивая шею. Глаза его выражали животное удовлетворение. Заворачивая за угол Джек-Стрита, он опять откусил кусок булки и скрылся из виду. Так Льюишэмы больше о нем и не слыхали.

ИЛЛЮЗИИ РАССЕИВАЮТСЯ

В сущности, розовая пора влюбленности, ухаживание, женитьба и свадебная песнь не что иное, как заря действительной жизни; вслед за этой зарей — наступает долгий промежуток белого, трезвого дневного света. Как бы мы ни старались удержать эти восхитительные минуты, они безжалостно блекнут и увядают; им нет возврата, нет новой зари; только глупцы могут еще пытаться подделать прошлое и лишний раз заглянуть в потемневшие, пустые покои. А жизнь идет своим чередом. Мы растем — потом старимся.

Наши юные новобрачные, вынырнув из атмосферы полусвета и утренних звезд, увидали над головами своими пасмурное сероватое небо и в первый раз, как следует, рассмотрели друг друга при свете будничного дня.

Быть может, если бы Льюишэмы были существа более утонченные, охлаждение совершилось бы постепенно, с достоинством, путем целого ряда маленьких разочарований, трогательно скрываемых, после искренних усилий поддержать подобающую сентиментальную атмосферу. И так, мало-по-малу, наступил бы день. Но наши молодые супруги были для этого слишком примитивны. Первые столкновения, первые догадки о том, что они не совсем одинаковые люди, уже были нами описаны, было бы досадно и скучно перечислять все мелкие осложнения, все оттенки конфликта между их индивидуальностями. Они дошли — о боже! — даже и до словесных конфликтов. Их угнетала постоянная забота, страх, что деньги на исходе, а работы все нет, угнетали тревожные поиски этой работы. Этель, кроме того, томилась еще необходимостью проводить долгие часы в одиночестве и без всякого дела. Споры между супругами возникали из-за всякого пустяка; однажды Льюишэм целую ночь не спал от беспредельного изумления: он убедился, что Этель ни капельки не интересуется благоденствием человечества, а социализм кажется ей фантазией, и при том нескромной и вздорной. Как-то в воскресенье они вышли вместе гулять в прекраснейшем расположении духа, а вернулись оба красные и взволнованные, обмениваясь колкостями и язвительными словами: спор вышел из-за социальных условностей в каком-то романе, прочи-

танном Этелью. По необъяснимым причинам Льюишэм воспылил жестокой ненавистью к подобным романам. Такие ссоры были, по большей части, лишь мелкими стычками, и наступавшие вслед за тем периоды обоюдной неловкости и молчания рано или поздно оканчивались «миром», временным или полным; впрочем, раза два было и так, что примирение только растравляло едва зажившую рану. Но каждая стычка оставляла по себе след, рубец, стирала в жизни новобрачных еще один из немногих уцелевших оттенков романтического колорита.

Пять долгих месяцев — если не считать двух мелких удач — ни одному из них не удавалось найти работу, не удавалось прибавить что-нибудь к их скудным доходам. Один раз Льюишэм получил двенадцать шиллингов за разгадку премированного ребуса в еженедельной газетке; в другой раз Этели прислал минимальную порцию переписки какой-то поэт, видимо прочитавший ее публикацию в «Athenaeum'e». Поэта звали Эдвин Пик Бэйнс и почерк у него был неустановившийся — буквы расплзались во все стороны. Он прислал несколько коротеньких стихотворений на отдельных клочках бумаги с подписью: «желательно иметь три копии каждого, красиво написанные в различных стилях и скрепленные не металлическими скрепами, но шелковинками подходящих цветов». Эти инструкции заставили молодых супругов порядком поломать голову. Одно стихотворение называлось «Песня птички», другое — «Тени облаков» и третье — «Egungium», но Льюишэм полагал, что их можно озаглавить все вместе одним словом «Наброски». В уплату — поэт, презирая почтовые правила, прислал полсоверена в письме, с просьбой оставить лишнее у себя, в счет будущих работ. В скором времени сильно измененные копии всех трех стихотворений были снова возвращены Этели с загадочной надписью на каждом:

«Стиль мне нравится, только прошу еще более в этом роде».

На этот раз автор принес стихи собственноручно. Льюишэма не было дома. Этель сама отперла дверь, так что надпись на стихах оказалась излишней. «Он еще совсем мальчик», — говорила потом Этель, передавая Льюишэму разговор с поэтом; Льюишэм очень заинтересовался посетителем. Впрочем, и Льюишэм, и Этель чувствовали, что молодость Эдвина Пика Бэйнса до известной степени лишает надежности этот новый вид заработка.

Начиная со дня своей свадьбы и до последнего экзамена в июне, Льюишэм вел странную, двойственную жизнь амфибии. Дома была Этель и упорные мучительные размышления, как бы найти работу; дома были — приступы раздражения против хозяйки за постоянные приписки и надбавки, куча забот и волнений, среди которых он чувствовал себя необычайно зрелым и опытным мужем. Но с этими периодами новоявленной зрелости чередовались проблески молодости.

сти: в Кенсингтоне Льюишэм был просто-напросто плохо дисциплинированным и обманувшим надежды студентом, и у этого студента все возростала склонность к болтовне. В южном Кенсингтоне он носился с теориями и идеалами, как и подобает студенту; в маленьких комнатках в Чэльси (с наступлением лета в них стало очень душно, и разбросанные повсюду дешевые романы — любимое чтение Этели — отнюдь не способствовали порядку) — в маленьких комнатках в Чэльси он был частным человеком, имел строго определенное положение; здесь идеалы уступали место действительности.

Льюишэм смутно понимал теперь, что мир, где начался период его возмужалости — был до странности мал и узок. В этом мире единственными посторонними, пришлыми извне, людьми — были супруги Чэффери. Нередко Чэффери заходил поужинать и, несмотря на свою мошенническую профессию, все больше завоевывал симпатии Льюишэма, как своими увлекательными монологами, так и тем, что он постепенно выражал почтение и зависть к научным занятиям молодого студента. Кроме того, Льюишэм чем дальше, тем больше сочувствовал желчным выходкам Чэффери против тех, кто правит миром. Отрадно было послушать, как он громил епископов и тому подобных господ. Он великолепно выражал то, что Льюишэму хотелось сказать самому. М-сс Чэффери — маленькая черная фигурка, нервная, невзрачная, небрежно одетая — находилась в обычном своем порхающем состоянии, и при появлении Льюишэма моментально исчезала. Она являлась, потому что Этель, несмотря на свои заверения, что «любовь для нее все на свете», находила семейную жизнь без Льюишэма несколько скучной и унылой. А когда возвращался Льюишэм — м-сс Чэффери спешила уйти, ибо борьба против мира развила в нашем герое некоторую раздражительность. Льюишэм никому в Кенсингтоне не говорил о своей женитьбе — вначале потому, что это была такая восхитительная тайна, потом — совсем по другим причинам. А потому его два мира совсем не соприкасались между собою. Один начинался у кованых железных ворот; другой — очень резко обрывался у тех же ворот. Но наступил день, когда эти ворота захлопнулись за Льюишэмом в последний раз, и тут пришел конец его юности.

На последнем экзамене по биологии, знаменовавшем собою конец еженедельным получкам в размере гинеи, Льюишэм провалился — и сам сознавал это. В вечер последнего дня, посвященного практическим испытаниям, он засиделся дольше всех. Усталый, разбитый, с горячей головой, всклокоченными волосами и красными ушами, он упрямо сидел до последней минуты, стараясь отпрепарировать тончайший, как волос, *nephridium*¹⁾ в теле земляного червя.

¹⁾ Элементарная нервная система.

Но подобные тонкости не даются тем, кто весь год бегал от лабораторных занятий. Наконец Льюишэм встал, отдал свою тетрадь молодому старообразному лаборанту, столь лестно приветствовавшему его восемь месяцев тому назад, и пошел через всю лабораторию к двери. Возле двери кучкой стояли другие студенты.

Смизерс о чем-то громко разглагольствовал; юноша с большими ушами внимательно слушал.

— А вот и Льюишэм! Ну, как вы справились, Льюишэм? — допытывался Смизерс, не скрывая, что за себя он совершенно спокоен.

— Отвратительно! — кинул на ходу Льюишэм и прошел дальше.

— Значит, капут? — крикнул в догонку Смизерс.

Льюишэм сделал вид, что не слышит.

Мисс Гейдингер стояла со шляпкой в руке и смотрела на покрасневшие глаза Льюишэма. Он хотел молча пройти мимо, но что-то в ее лице пересилило даже его огорчение. Он остановился.

— Выдержали вы? — спросил он любезно, на сколько мог.

Она покачала головой и спросила:

— Вы идете вниз?

— Надо полагать, — ответил Льюишэм тоном, в котором смутно звучал отголосок обиды, нанесенной ему Смизерсом.

Он отворил стеклянную дверь из коридора на лестницу. Вдвоем с мисс Гейдингер — они молча спустились до первой площадки.

— Вы попытаетесь еще раз, в будущем году? — спросила мисс Гейдингер.

— Нет. Больше я сюда не вернусь. Никогда, — ответил Льюишэм.

Наступила пауза.

— Что же вы будете делать? — спросила она.

— Не знаю. Поищу места. Надо же чем-нибудь жить. Это «надо» удручало меня весь наш учебный сезон.

— Я думала... — Она запнулась. — Вы опять уедете к дяде?

— Нет. Останусь в Лондоне. Что толку ездить в деревню? Там ведь ничего не добьешься. Притом же — сказать правду, я поссорился с дядей.

— Что же вы думаете делать? — уроки давать?

— Должно быть, что так. Я не уверен. Что придется, — лишь бы оплачивалось.

— Понимаю.

— Некоторое время они шли молча.

— А вы, я полагаю, еще попытаетесь? — спросил он.

— По ботанике, пожалуй, еще попытаюсь, — если найдется вакансия. Кстати, я думала — иногда кое-что случайно узнаешь.

Скажите мне ваш адрес. На случай, если я услышу что-нибудь подходящее...

Льюишэм остановился, подумал и сказал: «Да, конечно», — но адреса все-таки не дал, и ей пришлось еще раз напомнить об адресе, когда они сошли вниз.

— Проклятый *nephridium*! — сказал Льюишэм. — Из-за него у меня все вылетело из головы.

Они обменялись адресами на листках, вырванных из записной книжки мисс Гейдингер.

Мисс Гейдингер подождала в швейцарской, пока Льюишэм расписывался в книге. Дойдя до железных ворот, она сказала:

— Я пройду Кенсингтонским парком.

Льюишэм теперь было уже досадно, что он дал ей свой адрес, и он не пожелал понять намека, заключавшегося в словах мисс Гейдингер.

— Я иду в Чэльси, — сказал он.

Она помедлила минутку, глядя на него в смущении.

— Так значит, прощайте? — сказала она.

— Прощайте. — ответил Льюишэм, приподняв шляпу.

Он медленно перешел через дорогу, таща туго набитый клеенчатый портфель, — тот самый, который когда-то был таким блестящим: теперь портфель был весь в трещинах. В раздумьи дошел Льюишэм до угла Кромвель-Род и повернул направо, так что мог видеть красное здание университета, красиво и гордо высившееся над самыми Естественнo-Исторического Музея. С сожалением оглянулся Льюишэм на это здание.

Он был вполне уверен, что провалился на последнем экзамене. Он знал, что теперь карьера ученого закрыта для него навсегда, и вспоминал, как он впервые шел по этой дороге, к этому самому зданию, вспоминал все надежды и решения, волновавшие тогда его душу. О, эта мечта о непрерывном, неуклонном труде! Чего бы не достиг он, если б он преследовал одну только цель, если бы желания его не раздвоились?

В этом самом саду Льюишэм со Смизерсом и Парксоном сидели втроем на скамеечке у самого края оврага и рассуждали о социализме — незадолго до того, как он прочел свой реферат...

— Да, — выговорил он вслух, — да, — и это тоже прошло. Все прошло.

В эту минуту угол здания Естественнo-Исторического Музея закрыл от него удаляющуюся *Alma Mater*. Льюишэм вздохнул и повернулся лицом к душным маленьким комнаткам в Чэльси и еще не покоренному миру.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ССОРЫ

Ссора эта произошла в конце сентября. К этому времени почти все розовые тона уже поблекли: со дня свадьбы Льюишэмов прошло уже полгода. Денежные дела их перешли в новую фазу, — хроническая боязнь катастрофы сменилась хроническим урезыванием себя; Льюишэм нашел работу. — Некий капитан Вайгурс, поставщик провианта на армию, желал иметь энергичного помощника для своего математического жульничества; кроме того, капитан Вайгурс желал изучать геометрическое черчение и то, что ему угодно было называть «наукой о песках». Он занимался в разные часы и платил Льюишэму за эту странную работу ни более, ни менее, как по два шиллинга в час. Кроме того Льюишэму была дана возможность выказать свои таланты в качестве преподавателя начальной математики в одной из школ в Уолхэм-Грин. Все это, взятое вместе, давало до пятнадцати слишком шиллингов в неделю, а впереди можно было надеяться и на большее... Теперь весь вопрос был в том, как существовать в промежутках между сроками получек денег от Вайгурса. В такие промежутки блузы Этели теряли свою свежесть, а Льюишэм мужественно воздерживался от починки сапога, лопнувшего как-раз у большого пальца.

Начало ссоры было довольно тривиальное, но под конец дело дошло до обобщений. Льюишэм с утра был в скверном расположении духа — еще не прошло воспоминание о вчерашней стычке, а тут еще вышел маленький инцидент, ничего не имевший общего с явной причиной ссоры, но настолько взволновавший супругов, что потом оба они уже горячились свыше всякой меры и надобности. Выйдя из-за драпировки, прикрывавшей дверь в спальню, Льюишэм на столе, кое-как накрытом для завтрака, увидел письмо. Письмо это лежало между двух тарелок, и видимо, случайно попало туда; поза Этели показывала, что она только-что отдернула руку и письмо упало. Взоры их встретились, Этель покраснела. Льюишэм сел и взял письмо, испытывая некоторую неловкость. Письмо было от мисс Гейдингер. Он помедлил минутку, хотел было положить письмо в карман, но потом раздумал и распечатал. Письмо было длинное, и читать пришлось долго. В общем письмо показалось

Льюишэму довольно скучным, но он ничем не выказал этого. Прочитав, он тщательно сложил письмо и спрятал в карман.

С формальной стороны это не имело никакого отношения к ссоре. Ссора началась уже после завтрака. У Льюишэма выпало свободное утро, и он решил заняться пересмотром кое-каких записок по математике. На несчастье, разыскивая эти записки, он наткнулся на груду излюбленных романов Этели и обошелся с ними довольно таки бесцеремонно.

— Эта дрянь валяется всюду. Ты бы хоть иногда давала себе труд сложить их в одно место.

— Они лежали в порядке, пока ты не расшвырял их, — возразила Этель.

— Этакая мерзость! Только и годится, что в печку! — объявил Льюишэм, обращаясь ко всему миру вообще и ни к кому в частности, и со злобой швырнул одну книжечку в угол.

— Однако ты сам пытался написать такую же, — заметила Этель, намекая на огромную кипу бумаги, измаранной Льюишэмом: однажды, когда у него не было еще уроков, он тщетно пытался написать что-то. Напоминание об этом всегда страшно раздражало Льюишэма.

— Что такое? — сухо переспросил он.

— Ты сам пытался написать повесть, — повторила не совсем охотно Этель.

— Ты не даешь мне забыть об этом.

— Ты сам мне напомнил.

С минуту Льюишэм злобно смотрел на нее.

— Как бы там ни было, этой пакости нечего здесь валяться. У нас комната — точно хлев, чистого угла не найдешь никогда.

— Старая песня. Ты всегда это говоришь.

— Ну, а что же — есть чистый угол?

— Конечно есть.

— Где же?

Этель сделала вид, что не слышит. Но в Льюишэма точно вселился бес, он уже не мог удержаться.

— И добро бы у тебя была какая другая работа...

Это был нечестный удар. Этель обернулась.

— Если бы я убрала их, — возразила она дрожащим голосом, подчеркивая слово убрала, — ты бы только сказал, что я их припрятала. Что пользы стараться угодить тебе?

Злой дух подтолкнул Льюишэма ответить: «Пользы, очевидно, никакой».

Щеки у Этели пылали, и глаза горели от подступающих слез. Она вдруг перешла из оборонительного положения в наступательное и, с дрожащими в голосе нотками гнева, выложила разом то, что давно копилось у нее на душе.

— Я ни в чем не могу угодить тебе с тех пор, как у тебя завелась переписка с мисс Гейдингер.

Наступила мертвая тишина. Оба точно онемели от удивления. До сих пор предполагалось, что Этель не имеет понятия о существовании мисс Гейдингер. В уме Льюишэма мелькнула догадка.

— Откуда ты знаешь? — начал было он, но тотчас сообразил, что в этом направлении продолжать невозможно, и поступил, как истый мужчина: воскликнул с отвращением «Тьфу!» — И затем, сердито возвысив голос, укоризненным тоном продолжал: — Как это нелепо! Что за вздор ты городишь? Как будто ты когда-нибудь старалась угодить мне! Как будто ты не делаешь все время как-раз наоборот! — Он запнулся, пораженный собственной несправедливостью, и круто вернулся к своей исходной точке.

— Как ты узнала, что письмо от мисс Гейдингер?

У Этели — в голосе уже слышались слезы.

— А мне, по-твоему, не следовало знать?

— Но как?

— Ты, должно быть, думаешь, что это меня не касается. Ты думаешь, что я каменная...

— Ты хочешь сказать... ты полагаешь?

— Да — полагаю!

С минуту Льюишэм в смущении глядел на нее, подыскивая какой-нибудь уничтожающий возглас, какой-нибудь неотразимый довод, которым бы он сразу мог убедить ее, но такого довода не находилось. Он был прижат к стене. И все в нем всколыхнулось от несправедливого, неразумного гнева.

— Ревность! — вскричал он. — Ревность! Как будто... Разве мне не могут писать о таких вещах, которых ты не понимаешь, — не способна понять? Если бы даже я сам просил тебя читать, ты бы не стала... Потому то и...

— Ты никогда не давал мне возможности понять.

— Будто?

— Конечно, нет!

— Что ты говоришь! А в начале? Я пробовал. Социализм, религия — все. Но что тебе до этого? На все это тебе наплевать. Тебе бы хотелось, чтобы и я ни о чем таком не думал, ничем не интересовался? Что толку было убеждать тебя? Ты любишь меня по-своему, в известном смысле, а все остальное во мне — для тебя ничего не стоит! И за то только, что у меня есть друг...

— Друг!

— Да — друг!

— Зачем же ты прячешь ее письма?

— Говорю же тебе, что ты бы не поняла, о чем она пишет. Ну, да плевать! Не стану я с тобой спорить. Не стану! Ты ревнива, и баста! Только и всего!

— Кто бы на моем месте не ревновал?

Льюишэм устался на нее, как бы не понимая вопроса. Эта тема представляла неодолимые трудности. Он осмотрелся вокруг, ища к чему бы придраться, чтобы переменить разговор. На столе лежали записки по математике, вытащенные им из-под груды романов. Этого было довольно, чтобы снова возбудить его гнев, напомнить о потраченном даром времени. Льюишэм круто вернулся к основной причине их ссоры. Яростно жестикулируя, он вскричал:

— Так не может продолжаться! Это немисливо! Разве я могу здесь работать? Разве я могу что-нибудь делать?

Он сделал три шага и остановился посредине комнаты, где было больше простора.

— Я не потерплю этого — я не намерен этого переносить! Ссоры, придирки, неприятности. Смотри! Я нынче утром хотел работать, хотел пересмотреть записки. А ты вместо того заводишь ссору.

Такой несправедливости стерпеть не было сил.

— Не я завела ссору! — с плачем выкрикнула Этель.

На крик — можно отвечать только криком, и Льюишэм крикнул:

— Нет, ты. Ты из пустяка заводишь историю. Придирается, злится, ревнует — кого? меня! Разве здесь можно работать? Разве можно жить в таком доме? Я уйду. Я сейчас иду в Кенсингтон и буду работать там.

У него не хватало слов, а Этель, видимо, готовилась к отповеди. Льюишэм озибался, ища, чем бы еще раззадорить себя. Необходимо было действовать безотлагательно. На боковом столике он увидал *Vertebrata* Гексли. Он схватил книгу, размахнулся ею, описав дугу в воздухе — и с силой швырнул книгу в пустой камин.

Секунды две он как будто искал другого метательного снаряда, но тут он увидал на комодке свою шляпу, схватил ее и трагически зашагал к выходу.

У двери он минутку помедлил, потом распахнул ее настежь и с силой захлопнул за собой. Таким образом, Льюишэм оповестил весь мир о справедливости своего гнева и с честью вышел на улицу.

Он шел, куда глаза глядят, по улицам, усыпанным деловым озабоченным людом, спешившим на работу. Но скоро привычка направила его шаги к Бромптон-Род. Утреннее движение в ту сторону увлекло с собой и его. Довольно долго, несмотря на упрямо шевелившееся где-то в глубине души удивление, гнев его не остывал: он сам не давал ему остыть. «Зачем я женился на ней?» — твердил себе Льюишэм, не переставая. — «Зачем, чего ради, я женился на ней?» Но, как бы то ни было, решительное слово сказано. Он этого не потерпит. Этому должен быть положен конец. Такое положение вещей нестерпимо; так продолжаться не может. Он придумывал

громовую речь, которую ему следовало бы тогда же произнести перед нею в доказательство непреложности своего решения, придумывал разные жестокости. Надо было ощутительно дать ей понять, что больше он этого не потерпит. Чего именно не потерпит? Ответа на этот вопрос он тщательно избегал.

Каким образом, для чего он женился на ней? Окружающая обстановка была как нельзя более под стать мрачным мыслям. Огромные, вытянутые в длину здания из листового железа, к которым примыкает Музей Искусств (и надо же было Льюишэму прийти именно сюда!), изуродованная часовня, как-то боком выступавшая в улицу, — казалось, тоже негодовали на судьбу. Какой злой рок заставил его жениться на Этели? С такими честолюбивыми замыслами! После такого начала!

Задумавшись, Льюишэм прошел мимо ворот музея и заметил это только тогда, когда был уже довольно далеко. Гневным движением он повернул назад и вошел через турникет в музей, потом через галерею Старого Железа прошел в библиотеку. Ряды свободных столов, полки с книгами сулили успокоение, убежище...

Таков был Льюишэм утром. Но еще задолго до полудня гнев его погас, и уже не было прежней пылкой уверенности в том, что Этель никуда не годится. Лицо его, выглядивавшее из-за груды нераскрытых книг по геологии, было уныло и мрачно. Память рисовала ему его собственный портрет, каким он был во время давешней ссоры: грубый, заносчивый, недобросовестный. И из-за чего все это вышло?

Около двух часов Льюишэм шел к Вайгурсу, и душа у него уже была полна острого раскаяния. Каким образом совершился такой переход, трудно рассказать словами: мысли гибче слов, и эмоции несравненно труднее уловимы. Одно только мы можем сказать определенно: в душе Льюишэма проснулось одно воспоминание. Оно донеслось до него издали, сквозь стеклянную крышу библиотеки. Льюишэм сначала даже не сообразил, что это воспоминание: он только чувствовал, что ему что-то мешает сосредоточиться, и раздражался на это препятствие.

— Чорт побери эту проклятую шарманку! — проворчал он, ударив ладонью по раскрытой книге.

И вдруг судорожно зажал уши руками.

Минуту спустя он отбросил книги, встал и зашагал по библиотеке. Музыка неожиданно оборвалась на полутакте, и отзвук ее замер среди окружающей тишины.

Льюишэм захлопнул книгу, которую держал в руке, и вернулся на свое место.

Минуту спустя, он, сам того не замечая, напевал какую-то заунывную мелодию и снова думал о ссоре, которая, как ему казалось, совсем изгладилась из его памяти. Из-за чего все это вышло? У него было странное ощущение: как будто внутри его что-то вырва-

лось на свободу и шевелилось там, у него в душе. Но что? Словно в ответ в памяти его необычайно ярко всплыла картинка из жизни в Уортлее: лунный свет, склон холма, городок, ярко освещенный внизу, и музыка, — унылая и чувствительная мелодия. Почему-то ему слышались звуки органа, — хотя он знал, что на самом деле играет оркестр, и вместе с музыкой слышались протяжные слова, походившие на слова заклинания:

«Выплывают лица из страны мечтаний,
Дни былого счастья, дни былых страданий»...

Под эту музыку не только вся картина встала перед ним с графической точностью, но и волнение — беспричинное, безрассудное волнение потоком хлынуло в его душу, волнение, какого, еще минуту тому назад он был уверен, он никогда больше не испытает.

Льюишэм вспомнил все. Он спускался с этого холма, и Этель шла рядом с ним.

Неужели он в самом деле так любил ее когда-то?

— Ба! — сказал он и вернулся к своим книгам.

Но мелодия попрежнему звучала в ушах; память неотступно рисовала картины былого. Льюишэм завтракал молоком с белым хлебом (он решил не возвращаться домой к завтраку), шел на урок к Вайгурсу — воспоминания были попрежнему перед глазами. Потому ли, что завтрак из молока с белым хлебом сам по себе наводит на более кроткие мысли, или по какой другой причине, но только Льюишэм шел смущенный и в безграничном недоумении, шел — и спрашивал себя:

— Но если так, как же мы, чорт побери, дошли до этого?

Вот это, обыкновенно, и есть один из самых трагических вопросов в браке.

Утренний шум и движение на улицах уступили место почти полной тишине. Льюишэм мужественно старался разрешить трудный вопрос. Они поссорились — этого отрицать нельзя — и уж не в первый раз. В последнее время они ссорились часто. Это была настоящая ссора: они стояли друг против друга, как враги, нанося удары, парируя их, стараясь уязвить побольнее. Он старался припомнить все по порядку, — что он ей говорил, и что она отвечала, но теперь вспомнить не мог. Он позабыл слова и связь между отдельными фразами. В памяти у него вставал не логически последовательный спор, а только ряд отдельных, не имеющих связи между собой, предложений, резких, отрывочных, как изречения, вырезанные на камне. Из всей сцены припомнилась только одна картина — Этель у стола, с пылающим лицом и глазами, блестящими от слез.

Нужно было лавировать между экипажами при переходе через улицу, и это на миг отвлекло Льюишэма от его мыслей. Но, вынырнув из давки и очутившись на противоположном тротуаре, он вновь

был поражен: насколько их отношения с Этелью изменились сравнительно с прежним. Он сделал последнюю попытку свалить все на Этель, доказать себе, что эта перемена произошла исключительно по ее вине. Это она начала ссору, начала умышленно, потому что вздумала ревновать. Она ревнует к мисс Гейдингер, — ревнует, потому что она дура. Но теперь эти обвинения падали одно за другим, рассеивались, как дым. А фигуры двух влюбленных, идущих рука об руку в лунном сиянии, неотступно стояли перед глазами. Пробираясь узенькими проулками, выходящими на Большую Кенсингтонскую улицу, Льюишэм уже больше не обвинял Этель. А возле городской ратуши он сделал еще шаг вперед. Он спросил себя: разве не может быть, что, до известной степени, он сам виноват больше ее?

И тотчас же почувствовал, что все время внутренне признавал это.

Раз ступив на этот путь, он двигался быстро. Не прошел он и ста шагов, как всякая борьба в его душе улеглась, и он с головой нырнул в бездну раскаяния. И вся эта драматическая сцена, все эти грубые, жестокие вещи, которые он говорил, встали перед ним снова, но уже не как надписи, вырезанные на камне, а как обвинения, начертанные огненными буквами на стене. Он пытался уверить себя, что не говорил этого, что память сыграла с ним злую шутку, что он, может быть, и говорил нечто подобное, но не так грубо, не так резко, — но ему не удавалось обмануть себя. Почти так же напрасны были его попытки умалить собственную боль и обиду. Эти попытки помогли ему только измерить глубину своего падения.

Теперь все воскресло у него в памяти, как живое. Он видел Этель, в аллее, всю облитую солнцем, Этель, бледную, в лунном сиянии, в минуту их прощания перед домом Фробинеров; Этель, выходящую из дома Легиона и ожидающую его для совместной вечерней прогулки; Этель, только-что обвенчанную, когда она вышла к нему из-за драпировки, вся сияющая от радости и волнения. И, наконец, Этель сердитую, растрепанную и заплаканную, в плохо освещенной, неприбранной комнатке. Все это последовательно припомнилось ему под музыку уличного органчика. Как можно было перейти от такой радужно-цветной зари к такому пасмурному, унылому дню? Что они утратили, что ушло от них? Ведь он и она, наполнявшие такой горечью жизнь друг друга в течение последних злополучных недель, были те же самые люди, которые сейчас так светло и радостно улыбались друг другу в его воспоминаниях!

Льюишэма одолевала тоска. Теперь он винил одинаково и ее, и себя. Он готов был стонать от тоски. Как это глупо все вышло! И из-за чего?

Он теперь узнал любовь, узнал, что она сильнее и властней рассудка.

Он знал теперь, что любит Этель, и его недавний гнев, враждебность, осуждение ее — казались ему теперь чем-то чуждым его душе, занесенным извне. Припоминалось, как, после первых восторгов, их взаимная нежность мало-по-малу шла на убыль, как они постепенно становились скупее на ласки, как поддались первым приступам раздражения; припоминались вечера, которые он проводил за работой, упорно не желая замечать ее присутствия. Льюишэм вспоминал — и все это казалось ему прямо-таки невозможным. «Нельзя же вечно целоваться да миловаться», — сказал он однажды — и они разошлись в разные стороны. Как часто в мелочах он бывал нетерпелив, несправедлив к ней! Как часто задевал ее грубостью, недостатком сочувствия, резкой критикой ее поступков, а больше всего — нелепой таинственностью, которой он окружал свою переписку с мисс Гейдингер. Чего ради он прятал от Этели ее письма? Как будто ему и в самом деле было, что прятать! Что тут было скрывать? Что в этих письмах могло вызвать ее негодование? Казалось бы, ничего. А между тем, из-за этих вот мелочей, их любовь стала похожа на вещь, некогда дорогую и ценную, которая попала в грубые руки — и вот вся исцарапана, изломана, потерта, и уж почти совсем никуда не годна. И отношение Этели к нему тоже изменилось: между ними легла пропасть, которую, быть может, никогда уже не удастся заполнить.

— Нет, этого не должно быть, не будет!

Но как вернуться к прежней близости, как изгладить впечатлительные сказанных слов, как разделить то, что сделано?

Можно ли вернуть прошлое?

На минуту Льюишэм задумался над этим вопросом. Что, если вернуть невозможно? Что, если зло непоправимо? Что, если дверь, которую он захлопнул за собой, заперлась на замок и не откроется больше уж никогда?

— Но мы должны, должны это сделать! — говорил себе Льюишэм.

Он понимал, что извинения и доводы рассудка будут здесь бесполезны.

Он должен начать сызнова, вернуться к ощущениям былых дней, стряхнуть давящий из обоих гнет будничных тревог и забот: ведь именно эти заботы вытравивали из жизни их и свет, и радость. Но как? Как?

Он должен предстать перед нею снова влюбленным. Но с чего начать, как подчеркнуть перемену? У них и раньше бывали примирения, уступки, соглашения. Но это совсем другое. Он придумывал, что бы ей сказать, как разбудить ее душу. Но все, что приходило ему на ум, было холодно и жестко, или жалко и недостойно его, или же театрально и глупо. А что, если дверь уже заперта? Если теперь уже поздно? На каждом шагу его кололо воспоминание о том

или другом обидном взгляде или грубом слове. Он вдруг сообразил, как он должен был измениться в глазах Этели, и эта мысль была ему нестерпима. Потому что теперь он уже убедился, что любит Этель всем сердцем, попрежнему.

И вдруг он увидел перед собой окно цветочного магазина и — посредине окна — букет роз.

Розы привлекли его внимание раньше, чем он сообразил — почему. Перед ним были белые, девственно-белые розы, бледно-желтые, розовые и алые, розы всех оттенков телесного и жемчужного цвета, и посредине — одна темно-красная. Вся эта роскошь благоухающих красок, ярко окрашенных запахов, и эта темная нотка посредине, — были как бы отражением его мыслей, его ощущений. Льюишэм вдруг круто повернул, остановился перед окном и бесцеремонно уставился на цветы; букет был роскошный — он это видел; но почему этот букет так привлекает его внимание?

Тут его точно осенило. Ведь это и есть то, что ему нужно. Теперь было ясно, что надо сделать. Вот что должно подчеркнуть перемену, растопить лед, а главное — уничтожить эту проклятую замкнутость. Эти цветы поразят ее неожиданностью, пламенем, согреют ее...

А там, вслед за розами, вернется и он.

И вдруг серый туман, окутывавший его душу, рассеялся: Льюишэм снова увидел мир светлым и радостным, явственно увидел сцену примирения, о которой мечтал, увидел Этель, уже не плачущей и язвящей, а веселой — такой веселой, какой она всегда была прежде. Сердце у него забилось сильнее и чаще. Нужен подарок, и он знает какой.

Неуместная скромность попыталась было слабым голосом заявить протест и тотчас же смолкла. В кармане — был совершен. Льюишэм вошел в магазин.

Он очутился перед внушительных размеров молодой дамой в черном и... растерялся. Он был совершенно не подготовлен. Раньше ему никогда не случалось покупать цветов. Он озибался вокруг, ища вдохновения. Потом указал на розы.

— Я хочу... эти розы... — сказал он.

Когда он вышел — в кармане осталось от совершены всего несколько мелких серебряных монет. Розы он велел хорошенько упаковать и отправить Этели, непременно к шести часам.

— Ровно в шесть, — несколько раз повторил Льюишэм очень серьезно.

— Понимаем, — сказала ему молодая особа в черном, делая вид, что не может скрыть улыбки. — Мы ведь привыкли посылать цветы; нам не в первый раз.

ПОЯВЛЕНИЕ РОЗ

Но и с розами не повезло.

Когда Льюишэм вернулся от Вайгурса, было уже почти семь часов. Он вошел в дом с сильно бьющимся сердцем. Он ожидал найти Этель взволнованной, с цветами в руках. Но у нее было бледное, измученное лицо. Льюишэм так удивился этому, что приветствие замерло у него на устах. Его очевидно надули. Он вошел в гостиную — и там нигде не видно было роз. Этель прошла вперед и стала у окна спиной к Льюишэму. Он не мог дольше выносить неизвестности.

— Ничего не приносили?

Не спросить было нельзя, хотя он был заранее уверен в ответе. Этель взглянула на него.

— А что же, по твоему, могли принести?

— О! Ничего.

Она опять стала смотреть в окно.

— Нет, — повторила она медленно, — ничего не приносили.

Льюишэм придумывал, что бы такое сказать ей, что могло бы перебросить мост между ними, но ничего не мог выдумать. Надо подождать, пока принесут розы. Он вытащил свои книги, чтобы как-нибудь убить время до ужина. Ужин прошел холодно и церемонно и прерывался лишь самыми необходимыми, чрезвычайно учтивыми замечаниями. Разочарование и досада вновь омрачили душу Льюишэма. Он начинал злиться на весь мир вообще — и в том числе на Этель; он видел, что Этель все еще судит о нем по-прежнему, думает, что он сердится, — и это действительно сердило его. Опять взялся за книги, а Этель помогала прислуге убирать со стола. Вдруг послышался стук в наружную дверь. «Наконец-то принесли!» — сказал себе Льюишэм — и мгновенно просиял, но не знал, что ему делать — бежать ли навстречу, или остаться сидеть и посмотреть: как она примет подарок. Как бы это спровадить служанку? Она только мешает. В это время послышался голос Чэффери. «Чорт бы его побрал!» — пробормотал себе под нос Льюишэм.

Теперь оставалось одно: если принесут розы, шмыгнуть в коридор, перехватить их и снести прямо в спальню — через дверь,

ведущую туда из коридора. Было бы весьма нежелательно, чтобы их принесли при Чэффери. Он способен так высмеять «подобные сентименты», что всю жизнь не забудешь.

Льюишэм старался всячески показать, что он не очень-то рад гостю. Но Чэффери был в таком прекрасном настроении, что не посмотрел бы и на десять таких холодных приемов. Не дожидаясь приглашения, он уселся в свое любимое кресло.

Перед м-ром и м-сс Чэффери Льюишэмы всегда прикрывали свои нелады притворной чистосердечностью, и м-р Чэффери скоро болтал без умолку, не подозревая, какой кризис переживают молодые супруги. Он вынул из жилетного кармана две сигары, говоря:

— Дивный момент! Настоящий человек курит прекрасную сигару, или обратно: прекрасный человек курит настоящую сигару — как вам больше нравится. Не хотите ли одну? Нет? Ох, уж эти мне ваши строгие правила! А то мне было бы еще приятнее. Право, мне было бы так же приятно дать вам выкурить эту сигару, как выкурить ее самому. Ибо я нынче исполнен благоволения.

Он бережно отрезал кончик сигары, чиркнул спичкой, выждал, чтобы она догорела до дерева, только тогда закурил и с минуту смотрел молча, пуская огромные клубы дыма. Потом снова заговорил, в промежутках между фразами выпуская дым разнообразными красивыми спиралями.

— До сих пор я плутовал только ради забавы, — сказал Чэффери.

Он подождал и, видя, что Льюишэм не собирается отвечать, продолжал:

— На свете есть три сорта людей, мой друг, три, не больше, — а женщин — только один сорт. Есть счастливые люди, есть плуты и глупцы. Помесей я не считаю. А плуты и глупцы на мой взгляд, весьма и весьма похожи друг на друга.

Он опять подождал.

— Я тоже так полагаю, — буркнул Льюишэм и угрюмо устался в камин.

Чэффери наблюдал за Льюишэмом.

— Я проповедую мудрость. Нынче вечером я особенно в ударе. Я преподношу вам самые заветные свои и лучшие мысли — ибо, как вы увидите когда-нибудь — нынче особенный день. А вы рас-сеяны.

Льюишэм поднял на него глаза.

— День вашего рождения? — спросил он.

— Там будет видно. Я делал чрезвычайно ценные наблюдения над плутами и глупцами. Я рано убедился в абсолютной необходимости для человека быть честным, если он хочет быть счастливым. Для меня это так же верно, как то, что на небе есть солнце. Это вас удивляет?

— Видите ли, это плохо согласуется...

— Да. Я знаю, я знаю. Я вам все это объясню. Но прежде дайте мне сказать вам, какой должна быть счастливая жизнь. Слушайте меня так, как если бы я лежал на смертном одре, и это был мой прощальный завет. Прежде всего — неподкупность ума. Исследуйте все и крепко держитесь того, что вы нашли правым. Жизнь не должна иметь для вас никаких иллюзий, никаких сюрпризов. Природа полна жестоких катастроф: человек — физически выродившаяся обезьяна; все вожделения, все инстинкты должны быть обуздываемы; в природе вещей — несть спасения; если оно есть, оно только в природе человека. Все это грустно, но этой грустной правде нужно смотреть прямо в глаза. Надеюсь, вам все это ясно?

— Продолжайте, — сказал Льюишэм, в котором привитая рефератным кружком любовь к прениям и защите тезисов пересилила на миг тревогу о розах.

— В молодости — учение, саморазвитие, в юности — честолюбие; на заре возмужалости — любовь, не театральная страсть, а любовь.

Чэффери выговорил это особенно торжественно, внушительно подняв палец.

— Затем — брак, в молодых годах и приличный; потом дети и честный, упорный труд для них, труд на пользу страны, где живет вся семья; жизнь, полная самопожертвования, и наконец, на закате — законная гордость. Вот счастливая жизнь. Обеспеченный отдых и душевный покой на старости лет — вот счастливая жизнь; с тех пор, как на земле началась жизнь, она путем естественного подбора стремилась создать наиболее подходящего для себя человека. Таким образом, человек может прожить счастливо от колыбели до могилы — по крайней мере — довольно счастливо. И для этого требуются три вещи: здоровое тело, здоровый ум и здоровая воля... Да, здоровая воля.

Чэффери помолчал.

— Всякое иное счастье непрочное. И когда все люди станут мудры, все будут искать такой жизни. Слава! Богатство! Искусство! Краснокожие чтут помещенных, и мы недалеко от этого. Но я говорю, что все люди, не ведущие такой счастливой жизни — плуты и глупцы. Физическое уродство в моих глазах нечто в роде глупости тела.

— Да, — поддержал Льюишэм, — я полагаю — вы правы.

— Глупец не умеет добиться счастья потому, что у него не хватает ума; он плохо рассчитывает, ковыляет, спотыкается, любой толчок или неожиданность могут сбить его с ног; он учится страсти из книг, а жену берет из непотребного дома; он вздорит из-за пустяков, угрозы пугают его, тщеславие его обольщает; он ослеплен и потому попадает впросак. Плут же — когда он не дурак —

не достигает ничего, потому что его губит первый же луч света. Многие плуты в то же время и дураки — большинство таковы — но не все. Я знаю — я плут, но не дурак. Обыкновенный плут лишен воли, а ведь воля и есть движущий фактор, побуждающий человека добиваться того, что он считает за благо. Выдержка, настойчивость ему ненавистны. Узок путь и тесны врата; плут не может удержаться на этом пути; глупец не умеет найти его.

Тут Льюишэм пропустил мимо ушей несколько фраз: в наружную дверь опять постучали. Льюишэм встал, но Этель предупредила его. Он постарался скрыть свою тревогу, но все же вздохнул свободнее, когда услышал стук затворившейся двери и легкие шаги Этели, направлявшиеся из коридора в спальню. Льюишэм повернулся к Чэффери.

— Приходило ли вам когда-нибудь в голову, — вдруг, повидимому, ни с того, ни с сего спросил Чэффери, — проходило ли вам в голову, что нравственное убеждение само по себе еще не есть побудительная причина? Точно так же, как по железнодорожной карте поезд не уедет и на милю.

— Как? — переспросил Льюишэм. — Карта — поезд — миля... да, конечно... Конечно, не уедет.

— Вот то-то и оно. Так и бывает всегда с заправскими плутами. Мы не дураки, мы не слепцы, мы знаем. Но перед нами проезжая дорога, крутая, каменистая, скучная, род сурового, но прочного счастья; а рядом — веселая, смеющаяся тропинка, — тропа соблазна, мой друг, как говорят поэты, и на ней западня среди цветов...

Этель вышла из-за драпировки, посмотрела на Льюишэма, постояла немного, присела к столу на плетеное кресло, как бы с тем, чтобы взять оставленное на столе шитье, но тотчас же встала и ушла опять в спальню.

Чэффери продолжал распространяться о скоропроходящей природе страстей и тому подобных высоких материях. Льюишэм пропустил целые тирады мимо ушей; все внимание его поглощено было розами. Зачем Этель ушла снова в спальню? Неужели же...

В эту минуту она опять вернулась, но села так, что Льюишэму не было видно ее лица.

— Если можно что-либо противопоставить подобной чистой и честной жизни, — продолжал Чэффери, — так это жизнь искателя приключений. Но всякий авантюрист должен молить себе у бога ранней смерти, ибо приключения несут с собою раны, раны — болезни, а болезни — расстройство нервной системы. Этого не бывает только в романах. А когда нервная сила убита, чего тогда стоит человек? О чем вы думаете, мой друг?

— Тс! Что это? — сказал Льюишэм.

С улицы опять постучали. Презирая золотые изречения мудро-

сти, Льюишэм вскочил и побежал отворять. Вошел знакомый мадам Гадов и направился прямо к ней через коридор, потом вниз по лестнице. Когда Льюишэм вернулся, Чэффери уже собрался уходить.

— Я побеседовал бы с вами подольше, мой друг, но я вижу — вам не до меня. У вас что-то есть на душе. Не стану докучать вам догадками. Когда-нибудь вы вспомните... — Он не договорил и положил руку на плечо Льюишэма.

Можно было подумать, что он чем-то обижен.

В другое время Льюишэм, может быть, постарался бы умиловать его, но теперь он даже не стал извиняться. Чэффери повернулся к Этели и посмотрел на нее как-то странно, потом протянул ей руку. — Прощай.

В дверях он так же странно посмотрел на Льюишэма, как бы собираясь что-то сказать, но сказал только: «Прощайте»!

В поведении Чэффери было что-то, заставившее Льюишэма остановиться на пороге и посмотреть ему вслед; но тотчас же розы снова заслонили собою все.

Вернувшись в гостиную, Льюишэм застал Этель сидящей возле машинки. Она перебирала клавиши. Когда вошел Льюишэм, Этель пересела в кресло, взяла книгу и закрыла ею лицо. Льюишэм смотрел на нее. Голова его была полна вопросов, но он не решался заговорить. Значит, в конце концов, так таки и не принесли? Он был жестоко разочарован и страшно зол на бессовестно обманувшую его продавщицу. Он взглянул на часы раз и другой, взял книгу и сделал вид, что читает, но мысленно придумывал громовую речь, которую он произнесет завтра в цветочном магазине. Потом положил книгу, взял свой черный портфель и начал бесцельно открывать и закрывать его. При этом он украдкой взглянул на Этель и поймал ее взгляд. Она тоже украдкой поглядывала на Льюишэма, и он не понимал выражения ее лица.

Он направился в спальню — и здесь остановился, как вкопанный.

Там пахло розами. Запах был так силен, что Льюишэм взглянул за дверь: не там ли букет, перенесенный туда какой-то таинственной силой? Но в коридоре не слышно было запаха роз.

Вдруг он увидел: что-то загадочно белеет на полу у его ног. Нагнулся — и поднял бледно-желтый лепесток. Льюишэм держал этот лепесток в руке и смотрел на него в полном недоумении. В эту минуту он заметил, что чехол на туалете висит неровно, и, по вдохновению, мгновенно установил связь между этим маленьким беспорядком и лепестком, белевшим в руке.

Шагнул вперед, приподнял чехол, и что же? Там лежали его розы, измятые, скомканные...

У него захватило дыхание, как у человека, которого нежи-

данно окунули в холодную воду. Он так и остался стоять, держа в руке край чехла.

В дверях показалась Этель, бледная, с каким-то новым, непривычным выражением на лице. Льюишэм уставился на нее.

— Скажи на милость, зачем ты сунула сюда мои розы?

Теперь Этель в свою очередь уставилась на Льюишэма, и у нее на лице отразилось его удивление.

— Зачем ты сунула сюда мои розы? — спросил он снова.

— Твои розы! — вскричала она. — Как? Так это ты прислал розы?

РОЗЫ И ТЕРНИИ

Льюишэм продолжал смотреть на Этель, не разгибаясь, не выпуская из рук чехла, и лишь медленно, постепенно уяснял себе значение ее слов.

И вдруг все стало ясно.

При первом проблеске понимания на его лице, Этель вскрикнула от изумления и ужаса, шагнула вперед и опустилась на табуретку. Потом, повернувшись к нему, начала:

— Я... — и остановилась, нетерпеливо всплеснув руками. — О!

Льюишэм наконец выпрямился, стоял и смотрел на нее. Корзина с розами, опрокинутая, лежала на полу между ними.

— Ты думала, что их прислал кто-нибудь другой? — спросил он, стараясь освоиться с этим новым оборотом дела. Весь мир перевернулся в его глазах.

Этель отвела глаза и пролепетала:

— Я не знала... Это ловушка... Могла ли я думать, что эти розы от тебя?

— Ты думала, что их прислал кто-нибудь другой?

— Да. Думала.

— Кто же?

— М-р Бэйнс.

— Этот мальчишка?

— Да, этот мальчишка.

— Прекрасно!

Льюишэм озибался вокруг, отказываясь постичь непостижимое.

— Вы хотите сказать, что вы завели шашни с этим юношей за моей спиной?

Она открыла рот, чтобы возразить, но не нашла слов.

Бледность Льюишэма все увеличивалась, пока, наконец, последние следы краски не сбежали с его лица. Он засмеялся, потом стиснул зубы. Муж и жена смотрели друг на друга.

— Вот это уж мне никогда и в голову не приходило, — выговорил он ровным голосом.

Он сел на кровать и с каким-то злобным наслаждением стал топтать ногами разбросанные на полу розы.

— Мне и в голову не приходило, — повторил он, и легкая корзинка, подброшенная сверху его ногой, как-то негодуя подпрыгнув, выкатилась из-под драпировки в соседнюю комнату: за корзиной тянулся кровавый след из ярко-алых лепестков.

Так они сидели минуты две, если не больше. Когда Льюишэм заговорил снова, голос его звучал хрипло. Он формулировал свои чувства в тех же самых выражениях, как и раньше.

— Послушайте, — начал он, откашливаясь, чтобы прочистить голос. — Не знаю, вы, может быть, думаете, что я стерплю и это, но я не намерен терпеть.

Он взглянул на Этель. Она сидела, глядя прямо перед собой, не делая даже попытки отразить неожиданную беду.

— Говоря, что я не намерен терпеть это, — пояснил Льюишэм, — я не имею в виду устраивать вам сцены, истории или что-нибудь в этом роде. Можно ссориться и возмущаться многим, и все-таки жить вместе. Но это — это совсем другое. Вот к чему привели все мои мечты и иллюзии! Только подумать: сколько я потерял из-за этой проклятой женитьбы! А теперь... Вы не понимаете, не можете понять.

— И ты... И ты не понимаешь! — повторяла Этель, плача, но не глядя на Льюишэма и не поднимая рук, беспомощно лежавших на коленях.

— Начинаю понимать. — Он помолчал, собираясь с силами. — В один год погибли все мои стремления, все надежды. Я знаю, что я был груб, раздражителен, я это знаю. Я разрывался на двое. Но... я купил для вас эти розы.

Она взглянула на розы, потом на белое, как бумага, лицо Льюишэма, сделала чуть заметное движение в его сторону и — опять замерла на месте.

— Я думаю одно. Я давно убедился, что вы ограничены и пусты, что вы неспособны ни думать, ни чувствовать, как я думаю и чувствую; я примирился с этим. Но я думал, что вы, по крайней мере, верны мне...

— Я и верна.

— А вы... ба! — вы швыряете мои розы под стол!

Новая злоедающая пауза. Этель пошевелилась; Льюишэм повернулся к ней посмотреть, что она хочет делать. Она вытащила платок и принялась вытирать им сухие глаза, сначала один, потом другой. Потом зарыдала:

— Я... я, во всяком случае, так же... верна... как и ты...

В первый момент Льюишэм был поражен. Потом сообразил, что на это возражение не следует обращать внимание.

— Я бы вынес это, я бы вынес все, если б вы были честны, если б я мог быть уверен в вас. Я глупец, я знаю, но я примирился бы и с тем, что мне пришлось бросить любимое дело, и с потерей вся-

кой надежды на заветную карьеру, будь я уверен, что вы верны мне. Я... я очень любил вас...

Он вдруг смолк, заметив, что впадает в патетический тон. Нет, этого не нужно. Лучше уж гнев.

— А вы — вы обманывали меня! Давно ли, часто ли — мне все равно. Вы обманули меня. И я вам говорю, — он начал жестикулировать, — что я не настолько глуп и не настолько раб ваш, чтобы стерпеть и это! Что другое, а т а к и м дураком ни одной женщине меня не видать... Довольно. На этом мы кончим; по крайней мере, это я могу сказать о себе. Мы повенчаны, но это мне безразлично, будь мы повенчаны хоть сто тысяч раз. Я не стану жить с женщиной, которая принимает цветы от другого мужчины...

— Я же не принимала.

Льюишэм дал волю гневу. Весь дрожа, он схватил пучок роз и протянул ей. «А это что?» — Он уколол себе палец шипом, и из пальца шла кровь, как тогда, когда он рвал для нее цветы терна.

— Я же не взяла цветов, — оправдывалась Этель. — Я не виновата, что их прислали.

— Фу! Как вам только не стыдно! Ну, да все равно. Что пользы доказывать и отрицать? Вы взяли цветы, они у вас. Вы хотели схитрить, но выдали себя. И нашей жизни и всему этому — он повел рукой по воздуху, как бы указывая на мебель мадам Гадов, — пришел конец.

Он посмотрел на жену и с мрачным удовольствием повторил: «Конец».

Этель вскинула на него глаза. В лице Льюишэма она не увидела и следа угрызений совести.

— Я не стану больше жить с вами, — пояснил он, — чтобы не вышло ошибки. Наша совместная жизнь кончена.

Взгляд Этели перешел на разбросанные по полу розы и остановился на них. Она не плакала больше, и лицо у нее, за исключением глаз, было совсем белое.

Льюишэм повторил свое решение в другой форме:

— Я уеду. Нам не следовало вовсе жениться. Но... я никогда не ожидал э т о г о!

— Я не знала! — выкрикнула она вдруг. — Я же не знала. Чем же я виновата? Что же мне делать? О господи!

Она смолкла и смотрела на него, ломая руки, безумным, полным отчаяния, взором.

Льюишэм оставался непроницаемым и враждебным.

— Это меня не интересует, — возразил он в ответ на ее немую мольбу. — Этим все решено. Вот э т и м! — Он указал на разбросанные цветы. Не все ли мне равно, что случилось или не случилось? Как бы там ни было... о! — я не сержусь. Я рад. Вы понимаете? По крайней мере, все разрешилось. Чем скорее мы разой-

демся, тем лучше. Я не останусь под одной крышей с вами и одного дня. Я вынесу свой сундук и ремни в ту комнату и там уложусь. Ночь поневоле придется провести здесь; я усну в кресле или буду думать. А завтра я рассчитаюсь с мадам Гадов и уеду. Вы можете вернуться... к вашим плутням.

Льюишэм перевел дух. Этель молчала, как мертвая.

— Вам этого хотелось — теперь можете. Вы хотели это сделать, пока у меня не было еще работы. Помните? Ваше место у Легюна до сих пор не занято — вы это знаете. Мне все равно. Я вам говорю, что мне теперь все равно. Не в этом дело! Идите своей дорогой — я пойду своей. Понимаете? И вся эта гадость — этот стыд жить вместе, когда ни один из нас не любит другого — да, я не люблю вас теперь, так и знайте, и не воображайте себе! — Этот стыд кончится, наконец, и навсегда. А что до брака — плевать я на него хочу! Что в нем толку? Ошибка остается ошибкой, и стыд стыдом. Это позор, а позору должен прийти конец, — и конец пришел.

Льюишэм с решительным видом встал, отшвырнул от себя ногой в сторону розы и полез под кровать за ремнями. Этель не возражала и не двигалась, но следила за каждым его движением. Ремни не сразу удалось вытянуть, и Льюишэм проворчал себе под нос: «Да вылезай же, чорт тебя дери!» Вытащив наконец ремни, он швырнул их в соседнюю комнату и вернулся за сундуком. Он решил укладываться в гостиной.

Выбрав все свои вещи из спальни, он с тем же решительным видом задернул драпировку. По звукам, доносившимся до него, он сообразил, что Этель бросилась на кровать, и это наполнило его душу злобным удовлетворением.

С минуту он постоял, прислушиваясь, затем начал методически укладывать вещи. Первый взрыв негодования, вызванный неожиданностью открытия, стих. Он хорошо знал, что подвергает Этель тяжелой каре, и это было ему приятно. При том же мысль, что долгий и тягостный период смутных недоразумений разрешился таким непредвиденным кризисом, сама по себе доставляла ему какое-то странное удовольствие. Но вместе с тем молчание по ту сторону драпировки давало себя чувствовать весьма ощутительно, и Льюишэм нарочно старался шуметь, выбивал пыль из книг, чистил платье — все это, чтобы показать, что он решительно готовится к отъезду.

Было около девяти часов. В одиннадцать он еще не кончил укладываться.

Внезапно он очутился во мраке. У мадам Гадов была похвальная привычка, в видах экономии, в этот час тушить газ, — за исключением тех вечеров, когда у нее бывали гости.

Льюишэм пошарил в кармане, но спичек не оказалось. Он шопотом выругался. Специально на этот случай у него была куплена мед-

ная лампа, а в спальне, кроме того, стояли свечи. Этель зажгла свечу; между складок драпировки виднелась полоска желтоватого света. Льюишэм стал ощупью пробираться к камину, по дороге преобретно ударившись боком о стул.

На камине спичек не было. Переходя к комоду, он чуть не упал, запнувшись о ремни. В немой ярости он потряс кулаками и тут же споткнулся о корзинку, в которой были розы. И на комодe он не мог найти спичек.

У Этели в спальне, наверно, есть спички, но войти туда невозможно. Еще, пожалуй, пришлось бы просить ее: она иногда носит спички у себя в кармане... Надобно бросить укладку — ничего больше не остается. Из соседней комнаты не доносилось ни звука.

Льюишэм решил прикурнуть на кресле и попытаться уснуть. Осторожно, ощупью он добрался до кресла и сел. С минуту он еще прислушивался, потом закрыл глаза и приготовился спать.

Но, вместо сна, он думал о том, что ему придется делать завтра. Он представлял себе сцену расчетов с мадам Гадов и поиски новой холостой квартиры. Он соображал, в какой части города легче будет найти себе такую квартиру. Возможные хлопоты с вещами, затруднения и неприятности при поисках вырастали в его глазах до гигантских размеров. Все это мелочи, но мысль о них страшно раздражала его. Его интересовало, что делает Этель — тоже укладывается? Что она намерена предпринять? Прислушался, но ничего не было слышно. Как там тихо! Удивительно тихо. Что она может делать? Этот новый интерес вытеснил из головы Льюишэма мысли о завтрашнем дне. Он потихоньку поднялся с кресла и стал прислушиваться, потом опять сел. Чтобы отогнать неуместное любопытство относительно тишины в спальне, он стал перебирать свои обиды и ее вины перед собой.

Ему не сразу удалось сосредоточить свои мысли на этой теме, но скоро память его начала усердно работать, хотя—странное дело—припоминались ему как-раз не обиды. Его терзала нелепая мысль, что он был опять несправедлив к Этели, опять был опрометчив и зол. Он делал над собой неимоверные усилия, чтобы опять почувствовать давешний порыв ревности, но напрасно. Возражение Этели, что она была так же верна, как и он, упорно выдвигалось на первый план в его уме. Льюишэм не мог отогнать от себя мысли о том, что будет с Этелью, если он покинет ее. Что она будет делать? Льюишэм знал, как она слабохарактерна, как ей нужна его опора и поддержка. Боже правый! Чего она не сделает?

Усилием воли он сосредоточил свои мысли на Бэйнсе. Это помогло. Он опять ощутил почву под ногами. Какая бы горькая участь ни ждала ее, она заслужила эту участь. Она заслужила!

Но тут Льюишэм незаметно опять скользнул вниз, и опять его одолели, как давеча утром, сомнения и сожаления. Он схватился за

Бэйнса, как утопающий за соломинку — и эта соломенка вывезла. Некоторое время думал о Бэйнсе. Он никогда не видал Бэйнса, и поэтому воображению был предоставлен полный простор. Одно казалось возмутительно досадным препятствием к трагическому отпущению за свою честь — молодость Бейнса. Ведь это совсем мальчишка, пожалуй, еще моложе самого Льюишэма!

Вопрос: «Что станется с Этелью?» — снова всплыл на поверхность. Льюишэм боролся, заставлял себя не думать об этом. Ну, и пусть! Ему-то что? Это ее дело.

Гнев Льюишэма потух, но он неумолимо твердил себе, что иного пути, кроме уже избранного, нет. Если э т о простить, так можно и все простить. Есть вещи, которых человек не д о л ж е н терпеть! Он упорно цеплялся за эту точку зрения. Потом смутно мелькнула мысль, что, пожалуй, многое он сам выдумал. Но ведь уж флирт-то был у них, кокетничала-то она наверное! Он боролся против таких мыслей, как будто в его стремлении к справедливости было что-то унижительное. Он пытался представить себе их вместе.

Потом решил, что самое лучшее уснуть.

Но его усталость была не из тех, которые ведут за собой сон. Он пробовал считать, припоминал химические формулы, удельные веса разных элементов...

Вздрогнул, почувствовал — холодно, и сообразил, что сидит, скорчившись, в неудобной позе, на неудобном кресле. Он, очевидно, вздремнул. Посмотрел, виден ли свет между складками драпировки. Да, виден, но вздрагивает. Должно быть, свеча догорает. Льюишэм удивился, что кругом все так тихо.

Чего же он вдруг испугался?

Он долго сидел, прислушиваясь, нет ли движения в спальне, вытягивая инею вперед в темноте...

Ему пришла в голову забавная мысль, что все случившееся происходило давным давно. Он отогнал эту мысль, как отогнал и безрассудную уверенность в том, что произошло что-то непоправимое. Но почему же кругом так тихо?

Его одолевало предчувствие какого-то непоправимого несчастья.

Он встал и медленно, с бесконечными предосторожностями, чтобы не стукнуть чем-нибудь, начал пробираться к двери, прикрытой драпировкой. Потом приложил глаза к щелке, обозначенной полоской света.

Ничего не слышно, ни даже ровного дыхания спящей.

Льюишэм заметил, что дверь не заперта и даже слегка приотворена. Он тихонько подтолкнул одну половинку. Все еще ни звука. Отворил дверь шире и заглянул внутрь комнаты. Догоревшая свеча вспыхивала и дымилась. Этель лежала полураздетая на кровати, в ее руке, у самого лица, была роза.

Льюишэм стоял бледный, как полотно, боясь пошевелиться, на-прягая слух. Но даже и теперь он не мог уловить ее дыхания.

В сущности, по всей вероятности все благополучно. Этель просто спит. Он тихонько уйдет, пока она не проснулась. Если она увидит...

Он опять посмотрел на Этель. В ее лице было что-то...

Он подошел ближе, уже не заботясь о том, чтобы шагов его не было слышно, наклонился. Ничего не слышать, она как будто не дышит.

Ее ресницы были еще влажны от слез, подушка возле щеки мокрая. На это бледное заплаканное лицо больно было смотреть.

Льюишэму стало нестерпимо жаль ее. Он почувствовал в себе сейчас только эту жалость — и чувствовал, что обижал ее весь этот день. Этель пошевелилась и невнятно пролепетала одно из фантастических ласковых имен, придуманных ею для мужа.

Льюишэм забыл, что они должны расстаться навсегда. Он ничего не чувствовал, кроме радости по поводу того, что Этель может двигаться и говорить. Ревности, как не бывало. Он упал на колени.

— Милая, — шепнул он. — Ты здорова? Я... я не мог уловить твоего дыхания, не мог расслышать.

Этель вздрогнула и проснулась.

— Я был в другой комнате, — продолжал Льюишэм взволнованным голосом. — Кругом такая тишина. Мне стало страшно, я не знал, что случилось. Милая, Этель, милая! Ты здорова?

Она быстро села на постели, испытующе глядя в лицо Льюишэму.

— О, позволь мне сказать тебе! — вырвалось у нее стоном. — Позволь сказать! Это все вздор, пустяки... Ты не хотел меня выслушать. Ты не давал мне говорить. Это несправедливо, не выслушав...

Льюишэм сжал ее в своих объятиях.

— Дорогая, я знал, что это вздор. Я знал. Я знал.

Она, рыдая, продолжала оправдываться отрывочными фразами.

— Это так просто. М-р Бэйнс... Было что-то такое в его обращении... Я знала, что он способен натворить глупостей... Но мне так хотелось помочь тебе! — Она смолкла, вдруг почувствовав, что не может продолжать. Ей, как в блеске молнии, представилась случайная встреча, глупости, которые Бэйнс говорил ей, ее страх, отступление... Она рассказала бы, если бы умела. Но она не умеет. Она поколебалась и решила не говорить. — Ну, и вот, — продолжала она, — я и подумала, что это он прислал розы, и струсил... Я испугалась...

— Милая, — сказал Льюишэм. — Милая! Я был жесток к тебе. Я был несправедлив. Я понимаю, понимаю. Прости меня, родная, прости.

— Мне так хотелось чем-нибудь помочь тебе. Это все, что я могла сделать: заработать немного денег. А ты все сердился. Я думала, что ты совсем разлюбил меня за то, что я не понимаю твоей работы... И еще эта мисс Гейдингер... О! Это было ужасно!

— Милая! За один твой пальчик я отдам всю мисс Гейдингер.

— Я знаю, что я тебе только помеха. Но если бы ты только захотел помочь мне... О! Я стала бы работать, учиться. Я бы все сделала, что только могу, чтобы понять.

— Милая, — шепнул Льюишэм. — М и л а я.

— И чтобы о н а...

— Милая, — голос его прозвучал торжественно. — Я был скот. Я все это покончу, все покончу.

Он вдруг схватил ее в объятия и стал целовать.

— О, я з н а ю, я глупая...

— Ты не глупая. Это я был глуп. Я был жесток, безрассуден. Весь день сегодня... я думал это. Милая! Мне ничего не надо, кроме тебя. Только бы ты была со мною, все остальное вздор... Но я просто поторопился — и потому говорил резко... Это все от того, что я завален работой, и от бедности. Милая, мы должны держаться друг за друга. Сегодня весь день... Это было ужасно...

Он запнулся. Они прижались друг к другу.

— Ведь я люблю тебя, — сказала она, обвивая его шею руками... — Я так... т а к люблю тебя!..

Он притянул ее к себе еще ближе, поцеловал ее в шею. Этель прижалась к нему.

Губы их встретились.

Догоревшая свеча вспыхнула ярким пламенем, затрещала, и разом погасла. Воздух был тяжелый от сильного запаха роз.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Во вторник Льюишэм, вернувшись домой в пять часов — в половине шестого ему нужно было уже опять на урок — застал м-сс Чэффери и Этель в слезах. Льюишэм устал, и ему очень хотелось чаю, но его ждали такие новости, что он и думать позабыл о чае.

— Уехал! — объявила Этель.

— Кто уехал? Как! Неужто Чэффери?

М-сс Чэффери, зорко следя за тем, как примет это Льюишэм, уныло кивнула головой, стирая слезы много видевшим на своем веку носовым платком.

Льюишэм быстро сообразил, в чем дело, и, когда он представил себе все последствия этого — ему стало прямо жутко. Этель протянула ему письмо.

С минуту Льюишэм держал в руках это письмо не читая, и только задавал вопросы. М-сс Чэффери нашла письмо под часами, когда пришло время заводить их — они заводятся раз в неделю. Чэффери, как оказалось, еще в субботу вечером ушел из дому и с тех пор не возвращался. Письмо было не запечатано и адресовано Льюишэму. Это было длинное многословное послание, с претензиями на остроумие, по стилю значительно ниже речей автора. Письмо было написано за несколько часов до последнего визита Чэффери к Льюишэмам; так что поучения м-ра Чэффери перед расставанием — являлись как бы постскриптумом к завещанию.

«Чрезмерная глупость этого субъекта Легиона гонит меня из Англии», читал Льюишэм. «В конце концов я дал-таки осечку: боюсь, что это проступок даже с точки зрения закона. Я уезжаю. Удирю. Рву все связи. Мне будет недоставать долгих освежающих бесед с вами: вы изобличили меня, и я мог говорить с вами начистоту. Мне грустно расстаться и с Этелью, но, слава-богу, о ней есть кому позаботиться! Вы позаботитесь, конечно, о них обеих, хотя на «обеих» вы, может быть, и не рассчитывали».

Льюишэм чуть не взвыл и, пропустив вторую страницу, перешел прямо к третьей, где Чэффери излагал уже разные практические соображения. Читая, Льюишэм чувствовал, что обе женщины смотрят на него, не сводя глаз.

«В нашем Клапгэмском доме из легкого и удобоносимого движимого имущества осталось не много такого, что избежало пагубного действия моей прискорбной непредусмотрительности, но все же кой-какие вещи остались: окованный железом сундук; конторка со сломанными петлями и большой воздушный насос; все это, несомненно, можно заложить, если только вам удастся дотащить это до ломбарда. У вас больше силы воли, чем у меня, у меня никогда не хватало энергии стащить всю эту дрянь вниз. Окованный железом сундук первоначально принадлежал мне, когда я еще не был женат на вашей теще, так что, как видите, я не совсем равнодушен к вашему благополучию и забочусь о том, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить вас за труды. Не судите меня слишком строго».

Льюишэм быстро перевернул листок, не дочитав до конца страницы.

«Моя жизнь в Клапгэме в последнее время наскучила мне, и, говоря правду, ваше бодрое юное счастье — ведь это, знаете, большое счастье отдалось целиком борьбе с миром — напомнило мне, что годы уходят. Вы подумаете, что во всем этом главную роль играет какая-то новая женщина, вошедшая в мою жизнь. Не одно только это. Чтобы быть вполне искренним в самокритике, я скажу вам, что мне еще хочется жить; я чувствую, что моя жизнь не совсем еще изжита. Какие это дивные слова: пожить своей собственной жизнью; какое здесь честное презрение к нравственному плагиату. *Imitatio Christi* тут уже нет и следа. Мне хочется увидеть новые места, новых людей... Я знаю, мне уже поздновато начинать жизнь сызнова; я уже успел облысеть, и бакенбарды мои поседели, но — лучше поздно, чем никогда. Почему монополия подобных опытов должна быть предоставлена современным ученым девицам? Да и бакенбарды, в конце концов, можно выкрасить...

В недалеком будущем Лежон узнает такие вещи, — дальше я коснусь их слегка — что изумлен будет немало». Льюишэм стал читать внимательнее. «Дивлюсь я этому человеку: он всюду жадно ищет чудес, а между тем — кругом него самого почти невероятные чудеса. Что это за человек, который гоняется вечно за духами, когда его собственное глупое я (нелогичное, неразумное, вызванное к жизни каким-то непонятным волшебством) ощутительнее для него, чем его дыхание, и ближе к нему, чем его руки и ноги? Что такое сам он, чтобы ему дивиться духам? Удивляюсь, как это далеко не ничтожное физическое явление до сих пор не обратило на себя внимание наших исследователей, и почему общество исследования редкостных иллюзий и галлюцинаций не занялось Лежоном. *A priori* можно утверждать, что такое ненужное, непонятное существо, такой вздорный болтун может быть только порождением чьей-то больной истеричной фантазии. Вы верите, что такая вещь, как Лежон, существует? Признаюсь, у меня на этот счет весьма

серьезные сомнения. К счастью, его банкир — человек более доверчивого типа, чем я... Впрочем обо всем этом вскоре расскажет вас сам Легион».

Дальше Льюишэм не стал читать.

— Он, должно быть, воображал, когда писал это, что вся эта дребедень необычайно умна, — горько усмехнулся Льюишэм, цвивыряя листки на стол. — Дело просто: он украл, подделал чужую подпись или что-нибудь в этом роде — и потом удрал.

Насупило молчание.

— Что же будет с мамашей? — спросила Этель.

Льюишэм взглянул на мамашу и на минуту задумался. Потом посмотрел на Этель.

— Что ж, поплывем все в одной лодке.

— Я не хочу быть в тягость никому, — слезливо пробормотала м-сс Чэффери.

— Я думаю, ты могла бы напоить меня чаем, Этель; это ведь ничего не изменит, — сказал Льюишэм, сел и забарабанил пальцами по столу. — Мне в четверть седьмого надо быть уже в Уолхэм-Грине...

— Поплывем все в одной лодке, — немного спустя повторил Льюишэм, продолжая барабанить по столу. Льюишэм главным образом занимал тот любопытный факт, что им теперь придется всем плыть в одной лодке. Какой у него необычайный талант навлекать на себя ответственность! Он случайно поймал взгляд заплаканных глаз м-сс Чэффери, вопросительно и скорбно устремленный на Этель — и озабоченность сменилась вдруг состраданием.

— Не горюйте, мамаша, — сказал он. — Ведь я же понимаю. Я вас не брошу.

— Ах! — воскликнула м-сс Чэффери. — Я была уверена в этом! — А Этель подошла и поцеловала Льюишэма.

Ему грозила неминуемая опасность перехода из одних обятий в другие, но такая перспектива нимало не привлекала его, и он сказал:

— Дали бы вы мне лучше чаю.

За чаем Льюишэм все время расспрашивал м-сс Чэффери о подробностях, стараясь освоиться с новым положением вещей и собрать все в один фокус.

Но и в десять часов, когда усталый и разгоряченный Льюишэм возвращался с уроков домой, он все еще старался привести мысли в порядок — и не мог этого сделать. В схеме, набросанной им, было слишком много неясностей и пробелов и, это его смущало.

Льюишэм знал, что ужин будет только прелюдией к бесконечным разговорам о случившемся, и действительно ему удалось лечь в постель только около двух часов ночи. Зато программа действий была в общих чертах уже выработана.

М-сс Чэффери была прикована к Клапгэму — их дом был снят на несколько лет — следовательно, придется переехать туда. Подвальный этаж и первый — сдавались в наем без мебели, и доходы с них, в сущности, покрывали собою квартирную плату. Чэффери занимали часть нижнего и второй этаж. Во втором этаже была спальня, прежде предоставлявшаяся в распоряжение жильцов нижнего этажа; эту спальню могут занять Льюишэм и Этель. Там есть старый туалетный стол, который можно превратить в письменный, на случай, если придется работать дома. Этель может поставить свою машинку в нижней полутемной столовой. М-сс Чэффери и Этель будут покупать провизию и заниматься хозяйством; а там — ввиду того, что отдача комнаты в наймы не вязалась с профессиональной гордостью Льюишэма — надо постараться как можно скорее освободиться от контракта и приискать квартирку поменьше, где-нибудь на окраинах. Если они переедут, не оставив адреса, есть надежда, что чувства их не будут оскорблены возвращением этого забудды Чэффери.

Непрестанное и трогательное восхищение м-сс Чэффери добротой Льюишэма лишь отчасти умеряло его склонность к горьким мыслям и философствованию. Размышления практического свойства осложнялись догадками и предположениями относительно Чэффери, относительно того, что такое он натворил, куда уехал, и нет ли каких-нибудь шансов на его возвращение.

Когда м-сс Чэффери, пролив потоки слез и осыпав своих добрых, милых детей градом поцелуев и благословений, наконец убралась восвояси, м-р и м-сс Льюишэм вернулись в гостиную. Лицо м-сс Льюишэм выражало энтузиазм.

— Ты мой хороший, славный! — сказала она — и в награду за доброту Льюишэма нежно протянула ему руки. — Я знаю, знаю. Я сегодня весь вечер была влюблена в тебя. Милый! Милый! Милый...

На другой день Льюишэм был слишком занят, чтобы повидаться с Легионом, но на следующее утро он зашел к исследователю психических явлений и застал его за исправлением корректуры «Г е с п е р а». Тем не менее Легион принял молодого человека очень радушно, воображая, что Льюишэм, как и собирался раньше, явился наконец, чтобы совместно с ним, Легионом, заняться разрешением многих вопросов. О женитьбе Льюишэма он, очевидно, не знал. Льюишэм брякнул всю правду сразу.

— Чэффери был здесь в субботу, — сказал Легион. — Вы всегда были склонны относиться к нему подозрительно. Какие у вас основания?

— Прочитайте-ка лучше, — сказал Льюишэм, подавив насмешливую улыбку и подавая письмо Чэффери.

Во время чтения письма Льюишэм посматривал на Легюна и с нетерпением ждал момента, когда он дойдет до тех мест письма, где Чэффери говорил именно о нем, Легюне. В то же время Льюишэм с завистью разглядывал разные письменные принадлежности, в изобилии красовавшиеся на столе. Наверное, у лопоухого юноши тоже есть все это...

Когда Легюн дошел до вопроса о подлинности своего существования, щеки его как-то удивительно странно оттопырились, но ничем иным он не выказывал своего гнева.

— Ну, ну! — сказал он наконец. — Мои банкиры!

Его глаза смотрели на Льюишэма из-под очков с преувеличенной кротостью.

— Как вы думаете, что это значит? Не сошел ли он с ума? Мы производили в последнее время некоторые опыты, требующие значительного умственного напряжения. Он, я и еще одна лэди. Опыты гипнотического характера...

— Я бы на вашем месте заглянул в свою чековую книжку.

Легюн вынул ключи и достал свою чековую книжку. Он перелистал ее и протянул Льюишэму.

— Здесь все в порядке.

— Гм. А это? — тоже в порядке? — спросил Льюишэм.

Он раскрыл книжку на страничке с оторванным чеком и показал Легюну. Легюн взглянул — потом растерянно провел рукою по лбу.

— Я... не вижу, — сказал он.

Льюишэм никогда не слыхал о гипнотических внушениях, сохраняющих силу и после транса, и отнесся к этому заявлению с большим недоверием.

— Вы не видите, что половина листка оторвана? Что за вздор!

— Не вижу. — проговорил Легюн.

В течение нескольких секунд Льюишэм не мог удержаться от нелепых повторений все того же самого недоверчивого вопроса; наконец он указал на соседний листок.

— Ну, взгляните сюда. Этот листок вы видите?

— Совершенно ясно.

— Можете прочесть номер?

— Пять тысяч двести семьдесят девять.

— А на этом?

— Пять тысяч двести восемьдесят один.

— Ну?

Куда же девался пять тысяч двести восьмидесятый?

Легюн, видимо, начинал чувствовать себя неловко.

— Неужели же... — начал он. — Не может же быть... Не прочтете ли вы номер, т.е. цифру на корешке — на листке, которого я не вижу.

— Он пустой, — сказал Льюишэм, будучи не в силах сдержать усмешки.

— Да, конечно. — Лицо Легюна выразило еще большее смущение. — Вы не обидетесь, если я позову служанку взглянуть?

Льюишэм ничего не имел против; вошла та же девушка, которая когда-то открыла ему дверь — в тот вечер, когда был спиритический сеанс. Дав показание, она удалилась. Выходя из комнаты в дверь, находившуюся за спиной Легюна, она остановилась, поймала взгляд Льюишэма, подняла брови, поджала губы и многозначительно покосилась на своего господина.

— Боюсь, — сказал Легюн, — что со мной поступили бесчестно. М-р Чэффери — человек, несомненно, больших дарований... больших дарований, но я боюсь... я очень боюсь, что в данном случае он злоупотребил условиями опыта. Все это — и его оскорбительные обо мне отзывы в письме — все это весьма огорчает меня.

Он смолк. Льюишэм встал.

— Вы не откажетесь навестить меня еще раз? — с кроткой учтивостью попросил Легюн.

Льюишэм с удивлением заметил, что ему жаль этого человека.

— Он человек необычайных дарований, — повторил Легюн. — Я привык доверять ему... В последнее время у меня в банке собиралась довольно крупная сумма, но как он узнал об этом, я не умею сказать. Остается предположить, что он обладает исключительными способностями...

Зайдя на другой день к Легюну, Льюишэм узнал подробности мошеннической проделки Чэффери и вдобавок то обстоятельство, что «лэди» также исчезла.

— Это-то хорошо! — эгоистически заметил Льюишэм. — По крайней мере, Чэффери уж наверное не вернется... — Он попробовал вообразить себе «лэди», и тут яснее, чем когда-либо, почувствовал, как скуден его опыт и как бедно воображение. Однако и у этих господ с седыми бакенбардами и подмоченной честью есть еще чувства. И они способны пламенеть! Затем Льюишэм вернулся к делу. Оказалось, что Чэффери, загипнотизировав Легюна, внушил ему дать свой «автограф» на чековом бланке.

— Странное дело! — пояснял Легюн. — Сомнительно даже, подлежит ли он ответственности по закону? В законе так смутно сказано насчет гипнотизма. А, в конце концов, чек-то ведь подписал я.

Маленький человечек, несмотря на свою потерю, почти радовался тому, что во всем этом деле было нечто таинственное.

— Вы можете сказать, что это совпадение, можете объяснять это случайностью, — говорил он, — но я предпочитаю поискать другого объяснения. Вы только подумайте. Цифру моего баланса знают только я да мои банкиры. От меня Чэффери этого узнать не

мог, потому что я сам не знал — я по месяцам не заглядывал в свою чековую книжку. А он выставил на чеке как раз эту сумму, с ошибкой всего на семнадцать шиллингов и шесть пенсов. А цифра-то свыше пятисот фунтов.

Дойдя до этого, он совсем просиял.

— Всего на семнадцать шиллингов и шесть пенсов! Каково? Как вы это объясните, а? Попробуйте дать этому материалистическое объяснение. Не сумеете. И я не могу.

— А я думаю, что я могу, — сказал Льюишэм.

— Ну-с, — какое же?

Льюишэм кивнул на маленький ящичек письменного стола.

— Не думаете ли вы, — ему стало смешно, но он удержался, — что у него просто могла быть отмычка?

Возвращаясь в Клапгэм, Льюишэм долго еще видел перед собой забавно вытянувшуюся физиономию Лёгюна. Но потом ему стало уже не так смешно.

Он задумался над тем необычайным фактом, что Чэффери — его тесть, м-сс Чэффери — теща, что они оба и Этель составят его семью, его род, и этот мрачный грозный дом на Клапгэмском холме — будет его домом, домом Льюишэма! Связь Льюишэма со всеми этими людьми и предметами была неразрывной, как будто он и родился среди них. А между тем, еще год тому назад никто из этих людей даже и не существовал для него; самое воспоминание об Этели побледнело и почти стусевалось. Вот, что значит судьба! События последних месяцев, в схематическом, перспективном виде, прошли перед ним с быстротой пантомимы. Все это вдруг представилось в смешном виде, Льюишэм засмеялся.

Этот смех был началом новой эпохи в его жизни. Никогда раньше Льюишэм, когда ему приходилось туго, не смеялся над затруднительностью своего положения. Чрезмерной серьезности, свойственной юности, пришел конец: наступал период зрелости. Этот смех был предвестником бесконечных уступок и примирений.

В ПАРКЕ БАТТЕРСИ

Льюишэм обещал порвать всякие отношения с мисс Гейдингер, но в течение целых пяти недель он не предпринимал в этом направлении никаких активных шагов: он только оставил ее последнее злополучное письмо без ответа. Тем временем Льюишэм и Этель успели переехать от мадам Гадов в Клапгэм — при чем дело не обошлось без крупных разговоров на немецко-английском языке. В Клапгэме — молодые супруги сняли для себя, как и рассчитывали, маленькую комнатку во втором этаже. И здесь-то от нескольких слов изменился весь мир, изменился до неузнаваемости.

Слова эти были произнесены шопотом вперемежку со слезами и рыданиями; руки Этели обвивали шею ее мужа, в своих распущенных волосах она спрятала от мужа лицо. Шопотом отвечал и Льюишэм: он был несколько смущен, но в то же время ощущал странную гордость, странное, не испытанное дотоле волнение. Волнение это было совершенно не похоже на то, что, как ему казалось, он должен был почувствовать, услышав признание Этели: ведь раньше одна мысль об э т о м пугала его. А теперь он почувствовал, что это конец, решение задачи, примирение, выход из конфликта, который так долго тяготил. Колебаниям пришел конец; теперь Льюишэм знает свой путь.

На другой день он послал записочку, а два дня спустя покончил свои математические занятия часом раньше, чем это было безусловно необходимо, и, вместо того, чтобы идти прямо к Вайгурсу, отправился через мост в парк Баттерси. Там, возле скамьи, прохаживалась взад и вперед мисс Гейдингер; это была та самая скамья, на которой однажды уже сидели Льюишэм и мисс Гейдингер. Они стали гулять по аллее взад и вперед, обмениваясь коротенькими фразами на безразличные темы. Затем наступило молчание...

— Вы что-нибудь хотите сказать мне? — спросила мисс Гейдингер.

Льюишэм слегка изменился в лице.

— О, да. Дело в том... — Он напустил на себя развязность. — Я вам говорил когда-нибудь, что я женат?

— Женаты?

— Да!

— Вы женаты?

— Ну да... — это было сказано уже с досадой.

С минуту оба молчали. Льюишэм имел довольно жалкий вид и смотрел на георгины; мисс Гейдингер смотрела на Льюишэма.

— И это — то, что вы хотели сказать мне?

Льюишэм повернулся к ней и встретил ее взгляд.

— Да. Это именно я и хотел сказать вам.

Снова молчание.

— Если вам все равно, я бы присела, — сказала мисс Гейдингер равнодушным тоном.

— Здесь есть скамейка — вон там, под деревом, — показал Льюишэм.

Они дошли до скамьи молча.

— Ну, — спокойно сказала мисс Гейдингер, — теперь скажите мне, на ком вы женаты?

Льюишэм ответил в общих выражениях. Но она предлагала вопрос за вопросом, и Льюишэм, запинаясь и чувствуя себя дураком, все же отвечал правду.

— Я могла бы догадаться, — говорила она. — Догадаться было не трудно. Но я не хотела знать. Говорите еще. Расскажите мне о ней.

Льюишэм повиновался. Все это было ему страшно неприятно, но делать нечего: он обещал Этели — и должен выполнить обещание. Теперь мисс Гейдингер знала его историю в общих чертах, знала все, кроме его чувств.

— Значит, вы женились перед вторым экзаменом? — спросила мисс Гейдингер.

— Да.

— Но почему же вы не сказали мне этого раньше?

— Не знаю. Мне хотелось сказать... тогда... в Кенсингтонском саду. Но я не сказал. Я полагаю, мне следовало сказать... — ответил Льюишэм.

— Думаю, что следовало.

— Да, я тоже думаю... Но я не сказал. Почему-то мне было трудно сказать. Я не знал, как вы отнесетесь. Это произошло так быстро... ну, и вообще...

Он замолчал.

— Я полагаю, что вам все-таки следовало сказать, — повторила мисс Гейдингер, не отрывая глаз от профиля Льюишэма.

Льюишэм приступил ко второй и более трудной половине объяснения.

— У меня с женой были недоразумения все время... я хочу сказать... недоразумения из-за вас. Немножко затруднительно... Дело в том, что моя жена... Видите ли, она смотрит на вещи совсем иначе, чем мы с вами.

— Мы с вами?

— Да... Это странно, конечно. Но она видела ваши письма...

— Неужели вы показывали?

— Нет. Но... я хочу сказать, что она знает, что мы переписываемся и что вы мне пишете о социализме и литературе — и вообще о том, что нас обоих интересует, а ее нет.

— Вы хотите сказать, что такие вещи недоступны ее пониманию?

— Она не думала о них. Я полагаю, разница образования...

— И она против?..

— Нет, — не задумываясь, солгал Льюишэм. — Она не против, но...

— Так в чем же дело? — бледнея, спросила мисс Гейдингер.

— Она чувствует, что... Она чувствует... она не говорит этого, но я знаю, она чувствует, что ей следовало бы тоже принять в этом какое-то участие. Я знаю, как она любит меня. И ей стыдно... это ей напоминает... Вы понимаете, как это ей должно быть обидно?

— Да. Я понимаю. Так что даже это небольшое... — У мисс Гейдингер как будто захватило дыхание, и она неожиданно смолкла. Потом, сделав над собой усилие, начала опять: — А что мне это может быть больно... — но рот ее искривился гримасой, и она опять замолчала.

Льюишэм колебался.

— Я знал, что это будет вам больно.

— Вы любите ее... Вы можете пожертвовать...

— Нет. Не в том дело. Здесь есть разница. Обидеть ее — ведь она не поймет. А вы — мне казалось естественным прийти и сказать вам прямо. Я смотрю на вас, как на... Для нее я всегда делаю снисхождение...

— Вы любите ее?

— Я сам не знаю, в этом ли разница, или в чем другом. Все это так сложно. Любовь — все или ничего. Я знаю вас лучше, чем ее; вы знаете меня лучше, чем она когда-нибудь будет знать. Я могу говорить с вами так, как не могу говорить с нею. Я могу раскрыть перед вами всю свою душу — почти всю, и знаю — вы поймете меня... А все-таки...

— Вы любите ее.

— Д-да, — признался Льюишэм, в смущении дергая себя за усы. — Должно быть... должно быть, что так.

Некоторое время оба молчали. Мисс Гейдингер заговорила первая, заговорила выразительно, страстно:

— Подумайте только, что вы кончили этим! Где все ваши замыслы, все надежды... Что она дала вам такого, чего я не могла бы дать? Дальше! Почему я должна отказаться от того небольшого в вас, что принадлежит мне? Если бы она могла взять себе это... Но она не может. Если вас оставить одного, вы ничего не сделаете.

Все ваше честолюбие, все интересы мало-по-малу сойдут на нет, а ей это будет все равно. Она не поймет. Она будет думать, что вы все тот же. Зачем ей помогать тому, чем она не в силах владеть? Взять у меня мое и отдать ей — для того, чтоб она выбросила!

Она смотрела не на Льюишэма, — смотрела куда-то в пространство; лицо у нее было бледное и несчастное.

— В известном смысле... я привыкла думать о вас как о чем то... принадлежащем мне... и вперед буду... также...

— Знаете что, — начал, помолчав, Льюишэм. — в последнее время мне не раз приходила в голову одна мысль... Не думаете ли вы, что вы может быть чересчур высоко цените мои способности? Я знаю, мы с вами строили широкие планы. Но вот уже полгода с лишком я бьюсь, чтобы добыть себе такой кусок хлеба, который доступен почти каждому. Это отнимает у меня все мое время. После этого нельзя не подумать, что в более трудной борьбе я бы пожалуй и совсем сплеховал.

— Нет, — решительно возразила мисс Гейдингер. — У вас были большие задатки. Вы могли бы сделать многое. Даже и теперь вы можете сделать многое. Если бы я только могла видеть вас изредка, писать вам... Вы так даровиты и... слабы. Вам нужен непременно кто-нибудь... В этом ваша слабость. Вы не доверяете собственным силам. Вам нужны сочувствие и поддержка, нужно, чтобы кто-нибудь безгранично верил в вас. Почему я не могу дать этого вам? Это все, что мне нужно. По крайней мере все, что мне нужно теперь. Зачем ей знать? У нее это ничего не отнимает. Мне ничего не надо: у нее есть от вас все, что нужно ей. Но я знаю, что одна, своими только силами, я тоже ничего не могу сделать. А с вами... Бедь ей обидно только потому, что она знает. Зачем ей знать?

Льюишэм смотрел на нее в нерешимости. Глаза у нее блеснули: она искренно верила в воображаемое величие Льюишэма. И, по крайней мере, в эту минуту у него не было никаких сомнений относительно возможности достижения заветной цели. Но он знал, что тайна его величия и это поклонение ему — идут рука об руку, что они составляют как бы одно нераздельное целое. И в самом деле, зачем Этели знать? Но воображение, быстро опережая мысли, подсказало ему, что можно сделать — и что из этого может выйти; стало ясно, как усложнится жизнь, какая это будет постоянная неловкость и возможность попасться.

— Дело в том, что я должен упрощать свою жизнь, а не усложнять. Я ничего не добьюсь, если не начну с этого. Только люди со средствами могут позволять себе усложнения. Тут надо выбирать одно или другое.

Льюишэм колебался. Вдруг ему представилась Этель плачущая, какой он видел ее раз, когда свет падал прямо в глаза ей и слезы сверкали, как роса.

— Нет, — выговорил он почти грубо. — Нет это похоже на... Я ничего не могу делать потихоньку. Я хочу сказать... Не то, чтобы я был уж так удивительно честен теперь. Но я не такой человек. Я сейчас же попадусь. Из этого ничего не выйдет, Этель все равно узнает; моя жизнь слишком сложна. Я не могу справиться, если не буду выбирать только прямые пути. Я... вы преувеличиваете мои дарования. И притом случилось нечто... нечто такое... — Он запнулся и перескочил прямо к заключению: — одним словом — я не могу. Мне нужно упростить — вот и все. Мне жаль, но это так.

Мисс Гейдингер не отвечала. Ее молчание удивляло Льюишэма. Секунд двадцать они сидели, ни говоря ни слова. Вдруг она быстро поднялась с места; Льюишэм вскочил еще быстрее. Лицо ее пылало, глаза были опущены.

— Прощайте, — сказала она упавшим голосом и протянула руку.

— Но... — начал Льюишэм и запнулся. Краска сбегала с лица мисс Гейдингер. Она посмотрела ему прямо в глаза, усмехаясь.

— Прощайте. Говорить больше не о чем, не правда ли? Прощайте.

Он взял ее руку.

— Прощайте. Надеюсь, я не...

— Прощайте, — нетерпеливо проговорила она и вдруг вырвала руку, повернулась и пошла. Льюишэм шагнул было вслед за нею.

— Мисс Гейдингер! — Она не останавливалась. — Мисс Гейдингер! — Он понял, что она не хочет отозваться...

Льюишэм так и остался стоять, не глядя ей вслед. В душе у него шевелилось горькое чувство утраты, смутное желание догнать мисс Гейдингер, осыпать туманными и страстными уверениями...

Хоть бы раз она обернулась... Мисс Гейдингер была уже далеко, — и вдруг Льюишэм решил идти вслед за нею. Раз сдвинувшись с места, он все ускорял шаг и скоро стал нагонять ее. Между ними оставалось всего шагов тридцать расстояния, когда она пошла к воротам.

Льюишэм замедлил шаг. Ему вдруг стало страшно, — как бы она не обернулась. Но она прошла через ворота и скрылась из виду. Льюишэм остановился, глядя в ту сторону, куда она пошла. Потом вздохнул и повернул налево, по аллее, которая вела к мосту и к Вайгурсу.

На середине моста Льюишэмом опять овладела нерешительность. Он остановился, колеблясь, не умея отогнать докучливой мысли. Потом взглянул на часы и сообразил, что надо спешить, если он хочет захватить поезд, идущий в Эрльс-Коурт, к Вайгурсу. Мысленно гонял Вайгурса ко всем чертям.

Но в конце концов Льюишэм все же попал на поезд.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

В тот же вечер, часов около семи, Этель вошла в комнату, с большой, только-что купленной ею корзинкой для бумаг. Льюишэм сидел за туалетным столиком, превращенным в письменный стол. Вид из окна был — для лондонского вида — очень широкий: длинный покатым ряд крыш, тянущихся вплоть до вокзала; выше — голубая полоса неба, сливающаяся вверху — с вечерним сумраком, а внизу — с туманным таинственным хаосом крыш и труб, из которого вырывались железнодорожные сигнальные огни и клубы пара; внизу виднелась движущаяся цепь огоньков каретных фонарей и длинная, неясная перспектива улиц. Этель показала мужу корзину и поставила ее у стола. В это время взгляд ее упал на желтый лист картона в руках Льюишэма.

— Что это у тебя?

Льюишэм подал ей лист.

— Я нашел это на дне своего сундука. Это у меня было в Уортлее.

Перед Этелью была программа действий, в хронологическом порядке, озаглавленная *schema*, с отметками на полях; все числа были наскоро переправлены поспешной рукой.

— Как пожелтело-то! — удивилась Этель.

Льюишэм подумал, что ей следовало бы сказать не то, и внезапно ему стало жаль этой бедной *схемы* и своих несбывшихся надежд. Видя, что он задумался, Этель положила руку ему на плечо и склонилась к нему.

— Милый! — шепнула она страшно изменившимся голосом. Он понял, что она хочет сказать что-то такое, что ей трудно сказать.

— Что? — спросил он.

— Ты не огорчаешься?

— Чем?

— *Этим*.

— Нет!

— Тебе не... ты даже не жалеешь? — сказала Этель.

— Нет, и не жалею.

— Я не могу понять этого. Это — что-то такое большое.

— Я рад. Пойми, — *рад*.

— Но беспокойство, расходы — все это... как ты будешь работать?

— Вот-вот. Потому я и рад.

Она видимо все еще сомневалась! Льюишэм взглянул на нее и прочел вопрос в ее глазах. Он обнял Этель одной рукой, а она тотчас же, почти бессознательно повинувшись его желанию, наклонилась и поцеловала его.

— Этим все решено — понимаешь? — сказал Льюишэм, не отпуская Этель. Это связало нас. Прежде можно было... А теперь совсем другое. Это такая... Это соединительное звено между нами, именно то, чего нам не доставало. Ребенок теснее сблизит нас, сольет нас в одно. Мы будем жить для ребенка. Я буду работать для него. Все другое... — Льюишэм смотрел в лицо истине... — было только... тщеславие.

У Этели на лицо все еще оставалась тень сомнения, тень грусти.

— Милый! — сказала она.

— Что?

Она сдвинула брови:

— Нет. Не могу...

Опять наступила пауза, во время которой Этель очутилась на коленях у Льюишэма.

Он поцеловал ее руку, но лицо ее все еще оставалось серьезным, и смотрела она не на Льюишэма, а вглубь комнаты, в сгущавшиеся сумерки.

— Я знаю, я глупая, — начала она. — Я говорю... совсем не то, что чувствую.

Льюишэм ждал продолжения.

— Нет... не могу... не умею... — сказала Этель.

Льюишэм чувствовал, что надо помочь ей выразить ее мысль, но и ему было несколько трудно высказать это словами.

— Я, кажется, понимаю тебя, — начал он, стараясь уловить неощутимое, и смолк. Пауза была долгая, но не совсем бессодержательная. Этель неожиданно отстранилась от Льюишэма и нарушила молчание, перейдя к прозе.

— Если я не сойду вниз, мать сама подаст ужин...

В дверях Этель остановилась и повернула к Льюишэму смутно белевшее лицо. С минуту оба испытующе смотрели друг на друга. Ей видны были только смутные очертания фигуры Льюишэма. Он невольно протянул руки...

Внизу раздались шаги. Этель поспешно высвободилась и выбежала из комнаты. Льюишэм слышал, как она кричала на ходу: — «Мамаша! Не накрывайте на стол. Лежите себе! Я сейчас приду».

Льюишэм прислушивался к ее шагам, пока их не заглушил стук хлопнувшей кухонной двери. Тогда он опять обратился к с х е м е, и в первое мгновение она показалась ему такой пустой затеей.

Льюишэм держал перед собой лист обеими руками и рассматривал написанное, как будто это не он сам писал, а кто-то чужой ему. И в самом деле, это писал другой человек.

— Статьи в защиту либерализма... — прочел он и засмеялся.

Мысли унесли его далеко. Поза его сделалась более непринужденной; с х е м а превратилась на время в простой символ, в исходную точку; Льюишэм смотрел в окно, в надвигавшуюся тьму — и думал. Мысли его долгое время были наполовину чувствами — чувствами, принявшими форму и сущность идей. Но постепенно они выяснились, формулировались определеннее отрывистыми короткими фразами.

— Да, тщеславие... Самомнение мальчика. А все-таки... для меня... Во мне слишком сильно сказываются два человека... Два человека? Вздор! Общее место! Такие мечты, как у меня — такие способности! Э! Вздор! Все мечтают о том же. А все-таки... какие у меня были замыслы!

Мысли его перешли к социализму, к честолюбивой мечте возродить и исправить мир. Льюишэм подивился: сколько новых перспектив открылось ему с тех пор.

— Не для нас... не для нас. Наш удел — погибнуть в пустыне. Когда-нибудь... где-нибудь... но не для нас... Если подумать — так, в конце концов, все — ребенок. Будущее это — ребенок. Будущее... Что мы такое — все мы — как не его слуги? — слуги или предатели... Естественный подбор — вот путь будущего... на этом пути счастье... должно быть. Иного не может быть.

Он вздохнул.

Иного счастья, которое бы длилось всю жизнь... А все-таки жизнь как будто сыграла со мной злую штуку: сулила так много — дала так мало! Нет! Нельзя смотреть на это т а к. Это не годится. Не годится! Карьера! Это — само по себе карьера, важнейшая из всех. Я — отец. Зачем желать большего? А... Этель? Не диво, что она казалась мне бессодержательной и пустой. У нее и не было содержания в жизни. Не диво, что она жила в постоянной тревоге. Невыполненное назначение... Что ей было делать? Она была рабыней, игрушкой... Да. Это жизнь. Одно это — жизнь. Для этого мы созданы, для того и родились на свет. Все другое... в с е другое... только игра... Игра!

Льюишэм перевел взгляд на с х е м у. Руки его инстинктивно отдергивались. Он колебался. Из этого символа вставало яркое видение — стройная, выдержанная карьера, труд и успехи в строгой последовательности, отличия за отличиями... Он стиснул губы и разорвал желтый лист надвое. Потом прервал каждую половину еще пополам и опять пополам, тщательно осторожно, пока схема не превратилась в груды бесчисленных мелких кусочков. Ему казалось,

что с этим он разрывает в клочки часть самого себя, своего прежнего я.

— Игра! — прошептал он после долгого молчания. Конец юности... конец пустым мечтам.

Он весь затих; руки его покоились на столе, взор не отрывался от продолговатого синего четырехугольника, в раме окна. Гаснущий свет там, за окном, собрался в одной точке: зажглась звезда.

Льюишэм заметил, что все еще держит в руке изорванные куски с х е м ы. Он протянул руку и бросил их в новую корзинку для бумаг, кулленную Этелью.

Два кусочка выпали из корзины. Льюишэм нагнулся, поднял их и осторожно положил вместе с другими.

К о н е ц.

Перевела с английского

З. Журавская.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. Знакомит с м-ром Льюишэмом	7
II. «Подул ветер»	13
III. Удивительное открытие	21
IV. Приподнятые брови	24
V. Колебания	29
VI. Скандальная прогулка	33
VII. Расплата	40
VIII. Карьера торжествует	48
IX. Алиса Гейдингер	53
X. В галерее Старого Железа	57
XI. Духи	60
XII. Льюишэм становится невменяем	68
XIII. Льюишэм настаивает	70
XIV. Точка зрения мистера Легюна	77
XV. Любовь на улице	81
XVI. Тайные размышления мисс Гейдингер	86
XVII. В Рафаэлевской галерее	89
XVIII. Митинг «Друзей прогресса»	93
XIX. Решение Льюишэма	102
XX. Карьера прервана	107
XXI. Дома	113
XXII. Свадебная песнь	115
XXIII. М-р Чеффери у себя дома	119
XXIV. Кампания началась	134
XXV. Первая битва	140
XXVI. Иллюзии рассеиваются	152
XXVII. История одной ссоры	156
XXVIII. Появление роз	166
XXIX. Розы и тернии	172
XXX. Исчезновение	180
XXXI. В парке Баттерси	187
XXXII. Окончательная победа	192

5584

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36

